

**В форуме «Незамеченные революции»
приняли участие:**

Анна Владимировна Артюшина (Корнельский университет, Итака, США)

Дмитрий Александрович Баранов (Российский этнографический музей, Санкт-Петербург)

Виктор Семенович Вахштайн (Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Москва / Московская высшая школа социальных и экономических наук)

Евгений Викторович Вдовченко (Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону)

Мария Александровна Ерофеева (Санкт-Петербургский государственный университет / Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Москва)

Мария Владиславовна Константинова (Дальневосточный федеральный университет, Владивосток)

Сергей Валерьевич Соколовский (Институт этнологии и антропологии РАН, Москва)

Татьяна Борисовна Уварова (Институт научной информации по общественным наукам РАН, Москва)

Илья Владимирович Утехин (Европейский университет в Санкт-Петербурге)

Людмила Николаевна Хаховская (Северо-Восточный комплексный научно-исследовательский институт им. Н.А. Шило Дальневосточного отделения РАН, Магадан)

Виктор Александрович Шнирельман (Институт этнологии и антропологии РАН, Москва)

«Незамеченные революции»

ВОПРОСЫ РЕДКОЛЛЕГИИ

За последние 20 лет в антропологии произошла небольшая революция, которую, кажется, отечественная наука практически не заметила. Речь идет об исследованиях предметного мира — того, что традиционно называлось «материальной культурой». Кардинально изменились взгляды на «природу вещей», их взаимоотношения с человеком, социальные функции. В разрабатываемых Бруно Латуром, Игорем Копытоффом, Дэниэлом Миллером, Джоном Ло, Джудит Атфилд, Тревором Пинчем и другими исследователями концепциях, в частности в активно развиваемой ими акторно-сетевой теории, вещи выступают как актанты, эффективно модифицирующие деятельность человека и уже в силу этого обладающие активным началом. В исследованиях телесности и взаимодействий человека и техники особое значение приобрела тема вещи, меняющей возможности и поведение человека, вещи как протеза — внешнего (очки, бинокль, микроскоп, автомобиль и т.п.) либо внедренного в тело (искусственные конечности, кардиостимуляторы и проч.). Эти подходы кардинальным образом изменили облик исследований материальной культуры, оформившихся в особую междисциплинарную область — исследования материального (material studies). Основное внимание стало уделяться трансформациям предметной среды и ее процессуальному характеру в противоположность прежнему взгляду на вещь как равную самой себе и неизменную сущность.

Вещи всегда интересовали российских этнографов и антропологов. Работы перечисленных выше авторов вполне доступны и в переводах¹, хотя следует заметить, что выход важных в теоретическом отношении исследований на иностранных языках обычно не препятствовал скорому с ними знакомству. *Почему все это прошло мимо российской антропологии? Как получилось, что российские этнографы занимаются материальной культурой и при этом игнорируют методологические революции и новые концепции в этой сфере?*

Эти вопросы влекут за собой и другие. *В каких еще областях антропологических исследований в России что-то пошло не так?* (Вообще-то в нашей науке много чего не так, начиная с финансирования, деятельности министерства и т.п., но в этом «Форуме» хотелось бы обсудить состояние теоретической и методологической базы.)

Какие области исследований вообще отсутствуют в российской антропологии? С чем это связано и как можно исправить положение? Как, например, в рамках завоевываемой все новых последователей акторно-сетевой теории (АСТ) должны осуществляться исследования этнографической триады, составлявшей основу так называемой материальной культуры, — пища, одежда, жилище? Как исследовать современную культуру и достаточно ли теоретических и методологических инструментов в распоряжении российских антропологов, чтобы осуществлять такие исследования?

Можно ли говорить о сходных ситуациях в российских социологии, археологии, истории?

¹ См. например, работы Бруно Латура, Джона Ло, Игоря Копытоффа, Рома Харре в сб.: Социология вещей / Под ред. В. Вахштайна. М.: Территория будущего, 2006; а также: *Тевено Л.* Какой дорогой идти? Моральная сложность «обустроенного» человечества // Журнал социологии и социальной антропологии. 2000. Т. 3. № 3. С. 84–111; *Тевено Л.* Креативные конфигурации в гуманитарных науках и фигурации социальной общности // Новое литературное обозрение. 2006. № 77 <<http://magazines.russ.ru/nlo/2006/77/teve22.html>>; *Латур Б.* Нового Времени не было. Эссе по симметричной антропологии / Пер. с фр. Д.Я. Калугина; науч. ред. О.В. Хархордин. СПб.: Изд-во Европейского ун-та в Санкт-Петербурге, 2006; *Бертильссон М.* Второе рождение природы: последствия для категории социальное // Социс. 2002. № 9 <<http://www.isras.ru/files/File/Socis/2002-09/Bertilsson.pdf>>; *Ваннини Ф.* Исследования материальной культуры и социология / антропология техники // Этнографическое обозрение. 2011. № 5. С. 19–29.

АННА АРТЮШИНА

Словосочетание «незамеченная революция», на мой взгляд, весьма точно характеризует ситуацию с освоением российскими исследователями течения, которое в Европе и США получило популярность под именем “Science and Technology Studies”. Как объяснить позднюю рецепцию STS в России и, в частности, в среде отечественных антропологов? Можем ли мы говорить о том, что специфика российской академии препятствует проникновению одних идей и поощряет распространение других? На мой взгляд, существует ряд причин, определивших несостоятельность большинства попыток «привить» это уже давно не новое направление в России.

В 2011–2013 гг. Европейский университет в Санкт-Петербурге положил начало серии образовательных программ, посвященных Science and Technology Studies. Важнейшая цель на тот момент состояла в том, чтобы посмотреть, насколько работы авторов данного направления известны в России. Выяснилось, что российские антропологи, социологи и философы знают о существовании STS. И читают отечественные исследователи не только Бруно Латура, но и других европейских, американских авторов.

Анна Владимировна Артюшина
Корнельский университет,
Итака, США
artiushina@gmail.com

Однако знакомство с STS как с дисциплиной преимущественно фрагментарное. На кафедре одного университета группа аспирантов изучает работы Латура; в ином вузе профессор включил в курс по социологии науки труды Эндрю Пикеринга и Яна Хакинга; в другом городе преподаватель философии перевел на русский язык статью Жильбера Симондона. Для многих знакомство с STS началось и закончилось чтением работ Бруно Латура. Большая часть переведенных на русский язык текстов Латура — манифесты, нацеленные на вполне конкретную аудиторию — философов и социологов науки, с кем Латур активно спорил в 1980–1990-е гг. Представленные в России спустя десятилетия, эти полемические тексты оказались как бы подвешенными в воздухе. С одной стороны, эхо многочисленных и весьма кровавых сражений, в которых Латур доказывал коллегам из разных дисциплин, что изучать материальное необходимо, уже давно отгремело. С другой стороны, ни сами эти дискуссии¹, ни книги Латура, в которых он представляет собственные исследования, в России по-прежнему неизвестны. В такой ситуации Латур и его острые выпады в сторону других, более известных в России авторов, показались многим, мягко говоря, необоснованными.

Не стоит, однако, винить во всем отбор текстов для перевода. Само течение STS с его противоречивой историей и низким уровнем консенсуса в отношении центральных концептов плохо поддается трансплантации в новую академическую среду. Примечательно, что история Science and Technology Studies в качестве новой интеллектуальной программы начинается в 1970–1980-е гг. с того, что можно назвать «этнографической интервенцией» в сферы, традиционно принадлежавшие философии и социологии науки. Майкл Линч выделяет два истока этнографической волны в исследованиях науки. Это знаменитая книга Томаса Куна «Структура научных революций», а также полемические тексты авторов Сильной программы в социологии научного знания [Lynch 2012].

Книга под названием «Структура научных революций» фактически положила конец дискуссиям о рациональном познании, истине, объективности и фальсифицируемости научного знания [Kuhn 1962]. Как исследовать науку, если любое знание определяется спецификой сообщества, в котором оно было произведено [Kuhn 1969]? Все чаще в дискуссиях 1970–1980 гг. высказывались предложения обратиться к опыту эмпирических наук, таких как антропология или история. В явной форме призыв «мыслить как антропологи» выразили авторы

¹ См., например: [Collins, Yearley 1992; Bloor 1999; Latour 1999] etc.

Сильной программы Дэвид Блур и Барри Барнс. Антропологи, утверждают Блур и Барнс, изучают системы верований разных племен с одинаковым вниманием, а не судят взгляды одного племени с позиции соседнего. Если мы исходим из предпосылки, что любое знание социально обусловлено, почему бы не изучать науку этнографическими методами [Barnes, Bloor 1982: 23–24]? Вызов был принят, исследователи отправляются изучать научные лаборатории. Обращает на себя внимание тот факт, что лабораторные этнографы вышли из разных дисциплин. Среди них антропологи [Beaulieu 2010; Gusterson 1998; Myers 2007; 2008; Traweek 1988], социологи [Knorr-Cetina 1997; 1999; Merz, Knorr-Cetina 1997; Merz 1997; Sims 2005], этнометодологи [Lynch 1985; 1988; 1998; 2002], философы [Latour, Woolgar 1979] и даже физики [Doing 2009]. Параллельно с этнографиями лабораторий¹ развивается другое направление, вышедшее из тех же теоретико-методологических источников², изучение дискурсов ученых вокруг производства научных фактов [Collins 1974; 1981; 1992; 2001; Pinch 1981; 1986].

На ранних стадиях этнографический поворот в исследованиях науки мыслился многими как единая интеллектуальная программа. Некоторые авторы предприняли попытку предложить метаязык, чтобы объединить в рамках собственной теории работы коллег. К примеру, Бруно Латур презентовал акторно-сетевую теорию в качестве амбициозной попытки «вернуть» в социальные науки изучение материальных объектов [Latour 1983; 1987; 1999]. Карин Кнорр-Цетина работала над созданием собственной теории на пересечении антропологии, философии и социологии — эпистемология «объектно-центрированной социальности» [Knorr-Cetina 1997; 1999]. Ученик Гарольда Гарфинкеля Майкл Линч работал в русле этнометодологии, изучая, как материальные объекты отражают и трансформируют представления ученых о социальном порядке [Lynch 2012]. Исследователи научных дискуссий Тревор Пинч и Вайбе Бийкер стремились включить этнографию лабораторий в собственную теорию социального конструирования технологий [Pinch, Bijker 1984]. Ни один из перечисленных языков не стал основным для лаб-стади, и в целом этнографы лабораторий не породили единой теоретической программы. Чего достигли исследователи лабораторий — утверждения исследований материальности как нового междисциплинарного направления в социальных науках. Современные исследователи STS получают степени и работают в разных дисциплинах, но их объеди-

¹ В англоязычной литературе часто обозначается как «лаб-стади», см. обзор: [Артюшина 2012].

² В англоязычной литературе часто обозначается как «изучение научных дискуссий (контроверз)», см. обзор: [Pinch, Leuenberger 2012].

няет внимание к материальным составляющим человеческой жизнедеятельности, а также представление о том, что знание «конструируется» не только в научных лабораториях, но также в музеях, школах, судах, офисах, магазинах и т.д. Под маркой STS появляется все больше эмпирических исследований, количественных и качественных, значительная часть из этих работ — этнографии организаций. Но представители направления значительно меньше, чем раньше, стремятся к консенсусу по поводу общих концептуальных рамок [Woolgar 2009].

Почему произошло именно так? Почему заряда лабораторных этнографов хватило на то, чтобы утвердить новое направление исследований, но не хватило на создание как минимум единого словаря? Значительную роль в процессе развития STS сыграла история акторно-сетевой теории. В течение двух десятилетий акторно-сетевая теория существовала как наиболее радикальная версия исследования материальных объектов в социальных науках. При этом специфическими особенностями ANT были: а) радикальность установок, б) принципиальное отрицание «жестких» концептуальных схем. В итоге акторно-сетевая теория породила значительное число эмпирических исследований, которые были принципиально несравнимы между собой, словарь ANT содержит сотни слабо формализованных понятий, многие из которых дублируют другие понятия. Вызов, брошенный Латуром и его сторонниками, состоял в том, чтобы пересмотреть существующие в социальных науках конвенции относительно роли материальных объектов. При этом сторонники акторно-сетевой теории, видимо, не рассчитали, что, когда их критика будет, наконец, принята, вместо отрицаемых ими сложившихся конвенций нужно будет предложить что-то свое, что-то новое. В итоге выход в 1999 г. книги под названием “Actor Network Theory and After” [Law, Hassard 1999], которая была коллекцией выступлений на одноименной конференции, анонсировал официальный конец акторно-сетевой теории как программы.

Упадок акторно-сетевой теории, наиболее влиятельной теоретико-методологической базы в STS, мог привести к исчезновению всего направления исследований. Этого не произошло в силу двух причин. Прежде всего, тренд, который озвучил и попытался возглавить Латур, оказался действительно актуальным. Тридцать лет назад первым этнографам лабораторий приходилось доказывать, что социальные науки должны быть открыты для изучения новых классов объектов, сейчас это утверждение кажется тривиальным. Исследования материальности, изучение науки и технологий предстали насущной необходимостью, или значимой социальной проблемой, если говорить языком социологии. Вторая причина, обусловившая

устойчивость STS в условиях отсутствия консенсуса, — это, собственно, междисциплинарность направления. Так же как и первые этнографы лабораторий, современные исследователи STS приходят с теоретическим и методическим багажом из разных дисциплин. В свою очередь, все больше разных дисциплин обнаруживают готовность использовать концептуальные наработки STS в собственных исследованиях.

Подводя итог всему вышесказанному, возьмусь предположить, что именно диффузность Science and Technology Studies является ключевой проблемой в освоении этого направления российскими антропологами и, шире, отечественными исследователями. Я вижу только один рецепт, как преодолеть это препятствие. В большинстве стран (а свои теоретики STS есть в Австрии, Австралии, Великобритании, Германии, Испании, Нидерландах, Норвегии, Сингапуре, США, Франции, Швеции и Японии) это направление развивается через эмпирические исследования, а также путем активного взаимодействия ученых на международном уровне. Очевидно, что становящаяся дисциплина находится в поиске собственного языка. Кто знает, возможно, именно российские исследователи смогут ответить на вызов, брошенный Бруно Латуром?

Библиография

- Артюшина А.* Социология науки и техники (STS): сетевой узел как трансформация лабораторной жизни // Социологические исследования. 2012. № 11 (343). С. 35–51.
- Barnes B., Bloor D.* Relativism, Rationalism and the Sociology of Knowledge // M. Hollis, S. Lukes (eds.). Rationality and Relativism. Cambridge, MA: MIT Press, 1982. P. 21–47.
- Beaulieu A.* From Co-Location to Co-presence: Shifts in the Use of Ethnography for the Study of Knowledge // Social Studies of Science. 2010. No. 2. P. 453–470.
- Bloor D.* Anti-Latour // Studies in the History and Philosophy of Science. Vol. 30. No. 1. 1999. P. 81–112.
- Collins H.* The TEA Set: Tacit Knowledge and Scientific Networks // Science Studies. Vol. 4. No. 2. 1974. P. 165–186.
- Collins H.* The Place of the Core-set in Modern Science: Social Contingency // History of Science. 1981. No. 19. P. 6–19.
- Collins H.* Changing Order: Replication and Induction in Scientific Practice. Chicago: University of Chicago Press, 1992.
- Collins H.* Tacit Knowledge, Trust and the Q of Sapphire // Social Studies of Science. Vol. 31. No. 1. 2001. P. 71–85.
- Collins H., Yearley S.* Epistemological Chicken // A. Pickering (ed.). Science as Practice and Culture. Chicago: University of Chicago Press, 1992. P. 301–326.

- Doing P.* Velvet Revolution at the Synchrotron. Biology, Physics, and Change in Science. Cambridge, MA: MIT Press, 2009.
- Gusterson H.* Nuclear Rites: A Weapons Laboratory at the End of the Cold War. Berkeley; Los-Angeles: University of California Press, 1998.
- Knorr-Cetina K.* Epistemic Cultures: How the Sciences Make Knowledge. Cambridge, MA: Harvard Univ. Press, 1999.
- Knorr-Cetina K.* Sociality with Objects. Social Relations in Postsocial Knowledge Societies // Theory, Culture and Society. Vol. 14. No. 4. 1997. P. 1–30.
- Kuhn T.* Postscript // The Structure of Scientific Revolutions. 2nd ed. Chicago: University of Chicago Press, 1969. P. 174–210.
- Kuhn T.* The Structure of Scientific Revolutions. 1st ed. Chicago: University of Chicago Press, 1962.
- Latour B.* Give Me a Laboratory and I will Raise the World // K. Knorr, M. Mulkay (eds.). Science Observed. L.: Sage, 1983. P. 141–170.
- Latour B.* Pandora's Hope: Essays on the Reality of Science Studies. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1999.
- Latour B.* Science in Action: How to Follow Scientists and Engineers through Society. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1987.
- Latour B., Woolgar S.* Laboratory Life: The Construction of Scientific Facts. Princeton: Princeton University Press, 1979.
- Law J., Hassard J.* (eds.). Actor Network Theory and After. Oxford; Keele: Blackwell, 1999.
- Lynch M.* Art and Artifact in Laboratory Science: A Study of Shop Work and Shop Talk in a Research Laboratory. L.: Routledge and Kegan Paul, 1985.
- Lynch M.* Introduction // M. Lynch (ed.). Science and Technology Studies. Critical Concepts in the Social Sciences. L.; N.Y.: Routledge, 2012. P. 2–74.
- Lynch M.* Laboratory Space and the Technological Complex: An Investigation of Topical Complex // Science, Technology & Human Values. 1998. Vol. 23. No. 4. P. 371–383.
- Lynch M.* Protocols, Practices, and the Reproduction of Technique in Molecular Biology // British Journal of Sociology. 2002. Vol. 53. No. 2. P. 203–220.
- Lynch M.* Sacrifice and Transformation of the Animal Body into Scientific Object: Laboratory Culture and Ritual Practice in the Neurosciences // Social Studies of Science. 1988. Vol. 18. No. 2. P. 265–289.
- Lynch M.* Scientific Practice and Ordinary Action: Ethnomethodology and Social Studies of Science. Cambridge: Cambridge University Press, 1993.
- Merz M.* Deconstruction in a “Thinking” Science: Theoretical Physicists at Work // Social Studies of Science. 1997. Vol. 27. No. 1. P. 73–111.
- Merz M., Knorr-Cetina K.* Floundering or Frolicking — How Does Ethnography Fare in Theoretical Physics? // Social Studies of Science. 1997. Vol. 27. No. 1. P. 123–131.

- Myers N.* Modeling Proteins, Making Scientists: An Ethnography of Pedagogy and Visual Cultures in Contemporary Structural Biology. Ph.D. Dissertation. Massachusetts Institute of Technology, 2007.
- Myers N.* Molecular Embodiments and the Body-work of Modeling in Protein Crystallography // *Social Studies of Science*. 2008. Vol. 38. No. 2. P. 163–199.
- Pinch T.* *Confronting Nature: The Sociology of Solar-Neutrino Detection*. Dordrecht: Reidel, 1986.
- Pinch T.* *The Sun-Set: On the Presentation of Certainty in Scientific Life* // *Social Studies of Science*. 1981. Vol. 11. P. 131–58.
- Pinch T., Bijker W.* The Social Construction of Facts and Artifacts: Or How the Sociology of Science and the Sociology of Technology Might Benefit Each Other // *Social Studies of Science*. 1984. Vol. 14. P. 339–441.
- Pinch T., Leuenerger K.* Studying Scientific Controversy from the STS Perspective. 4S conference, Tokyo, 2012. <<http://fr.curriculumforge.org/TravaillongVincentr?action=AttachFile&do=get&target=Pinch+studying.pdf>>.
- Sims B.* Safe Science Material and Social Order in Laboratory Work // *Social Studies of Science*. 2005. Vol. 35. No. 3. P. 333–366.
- Traweek Sh.* *Beamtimes and Lifetimes: The World of High Energy Physics*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1988.
- Woolgar S., Coopmans C.* Does STS Mean Business? // *Organization*. 2009. Vol. 14. No. 6. P. 815–836.

ДМИТРИЙ БАРАНОВ

Объектуализация социальных отношений, создание «акторно-сетевой теории», формирование принципов «социальной топологии» — эти и другие новые подходы в общественных науках в изучении материального при всей эвристичности и академичности своим появлением обязаны, как мне кажется, общей тенденции последних десятилетий, выразившейся в распространении в обществе дискурса «политкорректности». В широком смысле под последней понимается ослабление в первую очередь аксиологической асимметрии в различного рода оппозициях: европеец / неевропеец, мужчина / женщина, эксперт / дилетант, субъект /

Дмитрий Александрович Баранов

Российский
этнографический музей,
Санкт-Петербург
dmitry.baranov@list.ru

объект и т.д. Даже домашние животные (pets) и растения (house plants) из любимцев своих хозяев превращаются в их компаньонов (animal companions и botanical companions). В рамках подобной парадигмы, размывающей сложившиеся, устойчивые во времени властные асимметрии, иерархии и вертикали, такие приписываемые вещам свойства, как, так сказать, податливость, домашность, «социальность» и, следовательно, бессмысленность их существования вне человека, начинают выглядеть как результат дискриминации со стороны сообщества людей.

Патерналистский характер взаимоотношений человека со своими вещами, так пронзительно описанный В.Н. Топоровым в «Апологии Плюшкина», когда «и косный материал вещи может служить зеркалом подвижного человеческого духа» [Топоров 1995: 9], в этой перспективе приобретает сугубо негативные коннотации. В конце концов, материальные объекты тоже имеют право обладать своей бурной, независимой от человека биографией и быть равноправными партнерами во взаимоотношениях с людьми, а не влачить жалкое существование лишь в виде результата объективации, знака или зеркала социального явления. Соссюровская же семиотика в приложении к материальной культуре вплоть до недавнего времени заявляла, что значение всякой вещи относительно, поскольку оно конституировано контекстами и появляется только в отношениях или сопоставлениях с другими вещами.

Уравнивание в правах субъекта и объекта, человека и вещи приводит в итоге к неактуальности прежнего этнографического дуализма — материальной и духовной культуры; взамен этого на передний план выдвигается будоражащее воображение соперничество / сотрудничество двух субъектов: сообщества людей и сообщества вещей. Теперь мир материальных объектов становится самодостаточным и нейтральным по отношению к человеку, ему уже не требуется опора в мире социальных значений, он ценен сам по себе, и зачастую уже не человек придает смысл вещи, а вещь определяет ценность человека.

Объект-центричная перспектива в социологии, которая пришла на смену антропо(социо)центричному взгляду, придала иную конфигурацию картине мира, будучи представленной «глазами вещей». Подобная смена ракурсов бывает чрезвычайно плодотворной в поисках нового знания, но нечастой в этнографической науке. Впрочем, подобные идеи и возникают время от времени: мне вспоминаются разговоры с коллегами, в ходе которых обсуждалась мысль описания родинного или погребально-поминального обряда глазами новорожденного или усопшего соответственно или описания собирательской,

выставочной и исследовательской работы музея «с точки зрения» вещей.

Вероятно, одной из причин удивительной устойчивости исходной позиции этнографа, заключенной в концептуальную рамку «Я — Другой», является принципиальная открытость, незавершенность и неопределенность этого «Другого» (а согласно радикальной точке зрения, полюсом, маркированным как «другой», фактически становится его отсутствие), что предоставляло широкий простор для разнообразных исследований, но в границах этой рамки. Все это не приводило к потребности кардинальной смены точки зрения, кроме того, изначальное включение в сферу антропологических интересов материальной культуры придавало этнографии видимость добротной эмпирической науки, изучающей «реальный», физический мир, который может быть подвергнут исследовательским процедурам с применением так называемых точных методов.

Нужно сказать, что проблематизация материальных объектов или поворот к материальному — явление далеко не новое в этнографической науке. Еще в конце XIX в. ряд российских этнографов призывал заняться исследованиями материальной культуры, изучение которой, по их мнению, находится в совершенно заброшенном состоянии. Призывы «Относиться к вещи как к вещи!» и критика спекуляций относительно материальных объектов формирует своеобразный «материалистический» дискурс, в рамках которого именно физическая природа вещи являлась источником научного знания. В свое время О. Мандельштам («О природе слова») едко высмеял забвение вещественного в вещи: «Получилось крайне неудобно — ни пройти, ни встать, ни сесть. На столе нельзя обедать, потому что это не просто стол. Нельзя зажечь огня, потому это может значить такое, что сам потом не рад будешь. <...> Вся утварь взбунтовалась. Метла просится на шабаш, печной горшок больше не хочет варить, а требует себе абсолютного значения (как будто варить не абсолютное значение)» (цит. по: [Айрапетян 1991: 131]).

Как следствие, этнографические музеи, будучи не просто репозиторием материальных объектов, но и центрами по их изучению, на определенном этапе приобретают научную респектабельность и, более того, частично придают этнографии естественно-научную окраску. Считалось, что с помощью «объективного материала» можно проверить теоретические положения этнографии, в том числе вопросы этнической истории, родства народов, культурных интервенций и т.д., а коллекции как организованный материал сами по себе уже содержат объективированное и систематизированное научное знание. Неудивительно поэтому, что в этот период музейные

исследования сближались с естественными науками, а сами этнографические коллекции составляли часть собрания музеев естественной истории.

Особенностью знания, порождаемого материальными объектами, являлось его наглядное и предметное выражение, поскольку в своей основе оно имело визуальную природу. Таким образом, то новое, что исследования материальной культуры (или так называемая «вещественная этнография») привнесли в науку, заключалось в их способности формировать с помощью изучения и презентации вещей некий зрительный образ культуры. Визуализация представлений о культурах наделяла свойством реальности их репрезентации в виде коллекций или экспозиций. Кроме того, зрительное сходство компонентов материальной культуры стало одним из оснований для пересмотра языковых классификаций при формировании музейной топографии. Лингвистические аргументы (это, так сказать, «священная корова» в этнографических классификациях) в музейном дискурсе уступают свои позиции, поскольку обладают серьезным «недостатком» — своей невидимостью. В целом можно говорить о предпочтении эмпирического материала умозрительным построениям. Музейное пространство сравнивалось с лабораторией, а исследования предметов — с опытами, которые позволяли подтвердить теорию или же ее опровергнуть. Изучение материальной культуры привело, в свою очередь, к реабилитации видимых («вещественных») признаков для классификации культур. Здесь интересно отметить своего рода «противоход» с естественными науками, в которых еще в XVIII в. скрытые признаки классификации, особенно в биологии, заняли главенствующие позиции по сравнению с видимыми, поскольку они выражали, по словам М. Фуко, функции [Фуко 1994: 254].

На рубеже XIX–XX вв., как отмечает Н. Диас, музеи и материальная культура стали в определенном смысле синонимами [Dias 2001: 92]; музейный этап развития антропологии выделяют М. Амес [Ames 1986: 27] и Э. Шелтон [Shelton 2000: 175]. Разумеется, процесс средоточия этнографических исследований в музее протекал с неодинаковой интенсивностью и имел национальные особенности. Так, Ф. Гронье говорит о неразвитости до 1920-х гг. этнографии во Франции и, как следствие, «ненаучности» этнографических экспозиций, для которых вещи отбирались на основании эстетических критериев или их «экзотического» вида, и лишь после основания Института этнологии в 1925 г. выставки стали «научными» [Grognet 2010: 176, 178].

Впрочем, некоторые исследователи констатируют существовавший в этот период разрыв между научным изучением кол-

лекций и музейным способом их показа. Например, Т. Беннет считает, что до конца XIX в. экспонируемые объекты были далеки от того, чтобы рассматривать их как имеющие смыслы и значения сами по себе, скорее как подходящую подпорку для иллюстрирования образа жизни, предлагаемую научными классификациями [Bennett 2009: 167]. Э. Кумбс говорит об обеспокоенности британского музейного сообщества рубежа XIX—XX вв. образом музея в глазах публики как собрания курьезов, в связи с чем в 1904 г. влиятельной Лигой империи было рекомендовано английским музеям предпринять все необходимые меры по превращению «диковинных вещей» в предметы научного интереса путем соответствующей их систематизации [Coombes 2010: 234].

Пожалуй, именно в это время (первая четверть XX в.) в зарубежной этнографии происходит поворот от материального к социальному. В результате европейские антропологи перестали заниматься материальной культурой, сфокусировавшись на взаимоотношениях между социальными институтами (Э. Шелтон связывает это с появлением работ Рэдклифф-Брауна), а музейная этнография ограничилась эмпирическими описаниями коллекций и так называемых примитивных технологий (вплоть до второй половины XX в.). Исследования материальной культуры оказались маргинальным увлечением антропологии и уделом этнографических музеев. Позднее это перерастает во взаимную нелюбовь музейных этнографов и социальных антропологов: первые говорят о невежестве и наивности вторых, которые не знают настоящей (т.е. «материальной») этнографии, а последние пренебрежительно относятся к музейным исследованиям, считая музеи кухней, где идеи, концепты душатся (разбиваются) пустяками.

В России судьба исследований материальной культуры сложилась по-другому. Первоначально, как и в Европе, этнографические музеи (главным образом, Кунсткамера, Этнографический отдел Русского музея, Музей народоведения) также становятся научными центрами по изучению прежде всего материальной культуры. Но это изучение имело свою специфику: чтобы стать частью коллекции, предмет должен был быть определен как «национально-своеобразный», т.е. «приписан» к культуре того или иного народа. Существенно, что этническая идентификация вещей в музее, которая, за редким исключением, превращается в их неизменный атрибут, делает границы объекта этнографии — этноса — ясными и четкими, а сам народ — укорененным во времени и пространстве. Материальная культура связывается с конкретным народом, а народ благодаря этому получает осязаемую, предметную основу, которая до сих пор является «питательной» средой для примордиа-

листского дискурса. Этничность помимо конфессионального и языкового измерения наконец-то получила материальное воплощение в вещах, а музей на протяжении всего XX в. продолжал играть роль своего рода дисциплинарного «якоря» этнографии. В отличие от Европы в СССР, даже несмотря на угрозу самому существованию этнографии как науки в начале 1930-х гг., музеи оставались научными центрами, которые могли через свои коллекции наглядно демонстрировать собственно объект этнографии — этнос. Действительно, раз есть этнически распознаваемые предметы материальной культуры, то, следовательно, сохраняется и объект этнографии.

Таким образом, исследования материальной культуры занимали сильную позицию во многом благодаря господству в отечественной этнографии «этноцентричной» парадигмы. А основные положения исторического материализма, изложенные И.В. Сталиным в 1938 г., диктовали музеям начинать любые выставки и экспозиции с показа самого главного — материальной культуры.

Ситуация стала меняться только в 1970–80-х гг., причем рост интереса к материальной культуре был отмечен как в западной антропологии, так и в отечественной, но траектории этого роста различались. За рубежом поворот к материальному был инициирован главным образом появлением археологических работ, например, книги Я. Ходдера «Символическая и структурная археология», испытавшей, в свою очередь, влияние структурной лингвистики. Многие музейные этнографы взяли на вооружение, как указывает К. Гилли [Tilley 2003: 67], методику постпроцессуальной археологии и стали рассматривать коллекции как некое пространство, где постоянно происходит процесс формирования новых культурных значений, новых этнографических реалий посредством перегруппировки и переименования вещей, создания новых экспозиций и т.д. В советской этнографии новый взгляд на вещи имел отчасти филологические корни, уходящие в московско-тартускую семиотическую школу, а кроме того, определенное влияние оказала этнолингвистика. Параллельно продолжали существовать два подхода в изучении материальных объектов: «практический» (в фокусе внимания материал, техника изготовления, утилитарные функции, т.е. все то, что относится к материальному) и «символический» (семантика, ритуальные функции, образ вещи в мифопоэтических представлениях).

Пожалуй, я бы не стал утверждать, что поворот к материальному в социологии оказал определяющее влияние на исследования материальной культуры, причем это касается не только отечественных этнографов, но и их зарубежных коллег. По-

прежнему подход большинства работ в области материального базируется на допущении произвольности и вторичности значений, которыми обладают вещи. Как пронизательно заметила С. Пирс, постмодернистское мышление заявляет об отсутствии причин для того, чтобы наделять вещи теми или иными значениями, которые традиционно относились к ним; каждому хочется принять участие в создании значения [Пирс 1999: 16].

И все же: почему антропологов не оказалось в первых рядах обсуждаемой революции в исследованиях материального, провозгласивших равенство людей и вещей? Как мне кажется, одной из причин определенного равнодушия антропологов к этой идее является, как это ни парадоксально, ее принципиальная не новизна для традиционной этнографии в целом, но не в научном, так сказать, регистре, а в мифологическом. Я имею в виду хорошо известный этнографам и филологам сюжет о «восстании вещей», идет ли речь о мифологии южноамериканских мочика, сказке «Федорино горе» К. Чуковского, поэме В. Хлебникова «Журавль» или — в ослабленном варианте — представлениях об «опасных» вещах в крестьянской культуре. Но бунт вещей в данном случае — это производное мыслительной деятельности человека; если убрать человеческого посредника из поля зрения антрополога, исчезнет и сама эпистемологическая основа науки. Действительно, в самом начале уже высказывалась мысль, что концепт «Другого» в этнографической парадигме является чрезвычайно емким и открытым для различного рода проекций, которые могут включать в себя все что угодно, но только не «нечеловеческое». В этом смысле антропологов интересует не «вещь в себе», а что она значит для представителей конкретной культуры. Настоящий же сдвиг в антропологии произойдет, вероятно, тогда, когда будет исчерпан «антропоцентрический» ресурс «Другого». Но сохранит ли тогда дисциплина свою идентичность?

Библиография

- Айрапетян В.* Толкование слова. Краткое введение в герменевтику для русистов // Ноосфера и художественное слово / Отв. ред. Вяч.Вс. Иванов. М.: Наука, 1999. С. 119–138.
- Пирс С.* Новый взгляд на старые вещи // *Museum*. 1999. № 4. С. 12–17.
- Топоров В.Н.* Вещь в антропоцентрической перспективе (апология Плюшкина) // Топоров В.Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ. Исследования в области мифопоэтического. М.: «Прогресс» — «Культура», 1995. С. 7–111.
- Фуко М.* Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. СПб.: А-сad, 1994.
- Ames M.* What Could a Social Anthropologist Do in a Museum of Anthropology // *Museums, the Public and Anthropology. A Study in the*

- Anthropology of Anthropology. Vancouver; New Delhi: University of British Columbia Press and Concept Publishing Company, 1986. P. 26–36.
- Bennett T.* The Birth of the Museum. History, Theory, Politics. L.; N.Y.: Routledge, 2009.
- Coombes A.E.* Museums and the Formation of National and Cultural Identities // B.M. Carbonell (ed.). Museum Studies: An Anthology Contexts. Oxford: Blackwell Publishing, 2010. P. 231–246.
- Dias N.* Does Anthropology Need Museums? Teaching Ethnographic Museology Portugal Thirty Years Later // M. Bouquet (ed.). Academic Anthropology and the Museum: Back to the Future. Oxford: Beghahn, 2001. P. 93.
- Grognet A.* Science on Display // B.M. Carbonell (ed.). Museum Studies: An Anthology Contexts. Oxford: Blackwell Publishing, 2010. P. 175–180.
- Shelton A.* Museum Ethnography: An Imperial Science // E. Hallam, B.V. Street (eds.). Cultural Encounters. Representing “Otherness”. L.; N.Y.: Routledge, 2000. P. 155–193.
- Tilley C.* Interpreting Material Culture // Interpreting Objects and Collections. L.; N.Y.: Routledge, 2003. P. 67–75.

ВИКТОР ВАХШТАЙН

Три «поворота к материальному»

Идеи имеют свою цену. Цена некоторых из них столь высока, что ее приходится выплачивать в рассрочку. В итоге мало кто из импортеров идей, профессионально запускающих концепты, образы и метафоры в научный оборот, понимает, чем именно (и когда) придется заплатить за их использование. Метафора «поворота» — весьма дорогой товар. Тем не менее многие падкие на яркие образы конечные потребители, желающие оснастить свое (как правило, глубоко прикладное) исследовательское предприятие модными аксессуарами вроде «поворота к материальному», «ризомной онтологии», «сети актантов» или «генерализованной симметрии», создают постоянный спрос на импорт запчастей акторно-сетевой теории [Латур 2014].

Виктор Семенович Вахштайн

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ,
Москва / Московская высшая школа социальных и экономических наук
avigdor2@yahoo.com

Впрочем, подобно рынку произведений искусства, рынок идей существует благодаря подделкам, копиям и репродукциям. Если бы все “turns” последних 60 лет действительно оказались поворотами (лингвистическим, семиотическим, антропологическим, онтологическим, «к культуре», «практике» или «материальному»), траектория нашей дисциплины напоминала бы перемещения Летучего Голландца — чередование периодов инерционного движения, резкой смены курса и затяжного простоя. А если бы «невидимые революции» были чуть больше революциями, чем невидимыми, социология и антропология походили бы на два африканских государства, в которых правящие элиты сменяются каждый месяц. Поэтому стоит дважды подумать, прежде чем запускать в оборот метафору «невидимой революции»; мы еще не вполне расплатились за свое предыдущее сомнительное приобретение — «поворот к материальному».

Был ли вообще «поворот к материальному» поворотом? И что мы имеем в виду, когда произносим это странное словосочетание? Далее я попробую развести три разных феномена, ошибочно смешанных под лейблом поворота к материальному.

Метафора поворота предполагает радикальную смену аксиоматики. Нечто привычное, очевидное и само собой разумеющееся начинает казаться архаичным предрассудком, пережитком прошлого. И напротив, «совершенная дичь» и «постмодернизм» (слова-синонимы в языке многих отечественных ученых) приобретают статус аксиом. Если это требование не выполняется, то мы имеем дело не с поворотом, а всего лишь со сменой доминирующей риторики. Под эту квалификацию попадает примерно половина статей и диссертаций, во введении к которым декларируется лояльность повороту к материальному. Далее я буду называть данный кластер работ «Поворотом к материальному — 0» (ПкМ-0).

Как устроено подобное высказывание? Первый шаг — отсылка к прецедентным авторам. Например: «Благодаря работам Б. Латура и Дж. Ло сфера исследований X никогда не будет прежней. Чтобы лучше понять свой предмет, мы должны обратиться к многочисленным традиционно игнорируемым и не различаемым материальным объектам, без которых X трудно себе помыслить». Собственно, сама сфера X может быть любой: исследования науки и техники, социология города или экономическая антропология. Средний читатель на первом шаге приходит в недоумение. Разве без Латура мы не знали, что города состоят, в том числе, из домов? Или что мастерские по ремонту техники имеют дело с материальными техническими объектами? Или что товары — это (преимущественно) матери-

альные вещи, обмениваемые на (иногда) материальные дензнаки? Особое недоумение у антропологов должны вызывать призывы сфокусироваться на «материальной культуре», как будто материальная культура (понятая именно как «культура» — т.е. продукт осмысленной человеческой активности) не находилась в фокусе изучения на протяжении практически всей истории дисциплины.

Однако на втором шаге недоумение от банальности захода сменяется недоверием от избыточной оригинальности прочитанного: «Материальные объекты становятся полноправными участниками социального мира. Мы собираемся исследовать сферу X как результат непрерывного симметричного взаимодействия человеческих и нечеловеческих актантов». Т.е. городская политика делается совместно людьми и домами, компьютер чинит мастера в той же степени, что мастер чинит компьютер, а материальная форма товара непосредственно связана с его культурной биографией [Копытофф 2006].

Впрочем, на третьем шаге средний читатель, как правило, успокаивается. Потому что авторы ПкМ-0 не намерены выполнять свои обещания. Сразу же за декларацией о намерениях следует стандартное и, чаще всего, скучное исследование «практик принятия политических решений в муниципалитете», «ритуалов сообщества мастеров по починке ноутбуков» или «культурных детерминант рыночных транзакций» (все это на материалах энного количества глубинных интервью и часов включенного наблюдения). Время от времени автор вспоминает о своем желании «сфокусироваться на объектах», но объекты благополучно утопают в практиках, ритуалах, сообщениях и культурах.

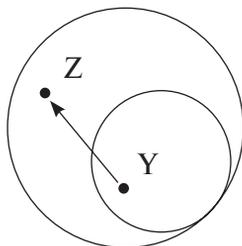
Нулевая версия поворота к материальному — довольно дешевая репродукция. Она по карману любому умеющему читать аспиранту — социологу или этнографу. Она не требует от автора создавать оригинальный теоретический язык, искать новую концептуализацию своего объекта, сдерживать инстинктивные позывы порассуждать о «социальной природе феномена X». Структура аргумента и объяснительные модели таких авторов откатаны десятилетиями упорного труда их предшественников, ничего не слышавших о повороте к материальному. В исследованиях ПкМ-0 постоянно упоминаемые материальные объекты имеют характер предикатов или атрибутов чего-то иного — чаще всего, социальных практик — того, что и выступает подлинным предметом исследования. В итоге мы читаем работы, легко сводимые к избитой формуле «социальное конструирование X в практиках Y», только практики теперь описываются как до отказа забытые материальностью.

Интересно, что исследования «практик конструирования X» действительно свидетельствуют о смене доминирующей аксиоматики, вот только эта смена произошла столетия назад, когда именно в регионе практики (как чего-то имманентного, локального, нерелективного) получила постоянную прописку идея социального [Волков, Хархордин 2008]. И если бы ПкМ-0 был единственной версией поворота к материальному, мы могли бы торжественно подвести черту под этим унылым начинанием, засвидетельствовав окончательное торжество «прагматического поворота» (который действительно изменил доминирующий язык описаний и способ мышления, что и иллюстрируют работы ПкМ-0). Впрочем, самая дешевая версия поворота к материальному не представляет угрозы ни аксиоматике традиционной социальной науки, ни попыткам ее радикального переустройства, представленным в работах ПкМ-1 и ПкМ-2.

«Поворот к материальному — 1» (ПкМ-1) — куда более интригующее теоретическое предприятие. По факту оно представляет собой форму *эпистемической эмансипации*. Чтобы прояснить этот тезис, обратимся к модели, предложенной Полом Вайсом [Weiss 1958].

В структуре большинства научных дисциплин (естественных, социальных и гуманитарных) можно выделить твердое аксиоматическое ядро — множество реалий, существование которых полагается несомненным. Для психолога это «психические процессы», для социолога — «социальные отношения», для биолога — «эволюция», для экономиста — «рациональность» и т.д. Аксиомы редко становятся предметом обсуждения. Споры ведутся по поводу элементов другого множества — предметного поля. К примеру, в XIX в. географы объясняли феномен самоубийства типом расселения людей на земной поверхности, биологи — врожденной предрасположенностью, психологи — психическими склонностями индивидов, социологи — степенью солидарности в разных сообществах. Объяснение — это установление связи между элементом предметного поля и элементом «ядра». Чем прочнее связь, тем сильнее объяснение [Латур 2012]. Сильное объяснение стремится к идеалу эксклюзивности: оно должно исключать все другие возможные объяснения. Э. Дюркгейм, к примеру, показал, что самоубийство куда лучше объясняется социальными фактами, чем географическими, психологическими или «космическими» [Дюркгейм 1994]; поэтому самоубийство стало мыслиться как социальный факт и было приписано к предметному полю нашей науки. То, как именно связываются элементы предметного поля с элементами аксиоматического ядра, собственно, и называется объяснительной моделью. Это центральный эле-

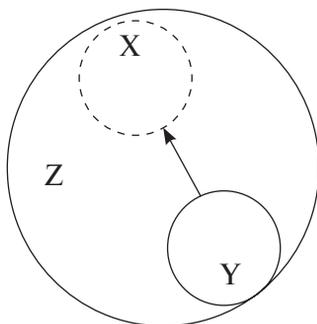
мент когнитивного стиля любой дисциплины. Вайс предложил следующую модель соотношения двух множеств:



где Z — предметное поле, а Y — множество «первичных реальностей» аксиоматического ядра.

«Каждая система [объяснения], — интерпретирует модель Вайса Дж. Нидлмен, — имеет свой собственный предустановленный критерий, посредством которого что-либо признается как реально существующее, как нечто, заключенное в системе, или то, относительно чего все остальное существующее <...> может быть “объяснено”» [Нидлмен 1999: 228]. Скажем, для этнолога это социальные практики. Они реальны, социальны и наделены причиняющей силой. Для Э. Дюркгейма это — социальные факты. Они реальны, социальны и наделены причиняющей силой. Для социолога-марксиста это классовый конфликт. И так далее. В малом круге (Y) также содержатся *правила трансформации*, перевода феноменов, номинированных в качестве требующих объяснения, на язык конечного словаря данной исследовательской программы. Именно поэтому всякое объяснение есть редукция — приведение множества феноменов Z большого круга к множеству объясняющих переменных Y малого круга [Латур 2012].

Эпистемическая эмансипация — явление редкое и загадочное. Начинается она с того, что некоторое множество элементов X предметного поля Z обособляются в самостоятельную область и заявляют о своей «необъяснимости» традиционными способами — разрывается устойчивая связь с аксиоматикой.



На следующем этапе эти сепаратистские элементы включаются уже в множество первичных реальностей (Y) и сами становятся частью дисциплинарного ядра. Таково, в частности, отношение между «структурой» и «культурой» в социологической теории. Исторически социология стремится объяснить феномены культуры: коллективные представления, мифы, верования, идеологии и мировоззрения — морфологией сообществ (стратификацией, солидарностью, системами родства, разделением труда, формами эксплуатации т.п.). Однако благодаря работам позднего Дюркгейма и (в большей степени) «сильной программе» культурсоциологии [Александр, Смит 2010] мы сегодня знаем, что культура не объясняется социальной морфологией — напротив, коллективная память, к примеру, обладает своей собственной «твердостью» и каузальной силой. Список социологических «первичных реальностей» пополнился еще несколькими составляющими. Аналогичным образом повседневный мир традиционно объяснялся набором социологических «первичных реальностей»: пространство улицы скрывало политическую волю правящего класса, рутинные практики — интересы игроков, взаимодействия «лицом к лицу» — морфологию сообществ. Благодаря работам феноменологов мы научились видеть повседневный мир как реальность *sui generis*, не сводимую к иным социальным сущностям и не объясняемую ими [Шюц 2003]. Благодаря теоретикам практик мы поняли, что повседневные рутины можно использовать в качестве объяснения процессов «конструирования» чего угодно [Schatzki et al. 2003]. Сегодня сфера повседневности, эмансипировавшаяся от множества Z и перешедшая в множество Y, используется как плацдарм для вторжения в смежные дисциплины: выборы — это не политический факт народного волеизъявления, а фреймированное взаимодействие людей «лицом к лицу» на избирательных участках; также и городское пространство уже не имеет ничего общего с географическим пространством — это просто реификация, слепок повседневных рутинных практик.

«Поворот к материальному — 1» начинается как эмансипация объектов материального мира, высвобождение их из-под давления традиционных первичных реальностей социологической аксиоматики. Не случайно в основе ПкМ-1 лежат работы антропологов [Thompson 1979; Douglas, Isherwood 1996; Копытофф 2006; Appadurai 1986: 3–63], исторически менее расположенных к сильным социологическим объяснениям. ПкМ-1 — это социология вещей *sui generis*. Вещи должны получить свободу от социального, они больше не являются пассивным экраном, на который проецируются социальные смыслы, не служат подручными инструментами социальных фактов,

не выступают видимым, но молчаливым свидетельством незримого социального порядка. Они должны анализироваться как условия возможности этого порядка, но сначала — получить свободу от всё объясняющих элементов множества Y (и особенно — от «социальных практик»).

Манифест «Поворота к материальному — I» звучит в духе литературы киберпанка. И это не случайно. ПкМ-1 возвращает в социальную теорию эпистемические коды утопического воображения, изгнанные оттуда «поворотом к практике». В подтверждение своих слов далее я приведу цитату, представляющую собой компиляцию нескольких статей. Я намеренно соединил и смикшировал три текста, один из которых принадлежит перу научного фантаста, другой написан известным антропологом, третий был опубликован за авторством трех социологов как предисловие к специальному выпуску журнала “Theory, Culture and Society”. Всего четыре неравных фрагмента (один текст цитируется дважды). Читателю предлагается отделить их друг от друга — попытаться собственноручно провести границы между научно-фантастическими и научными нарративами:

Взаимопроникновение стало главным источником культурной энергии нашего десятилетия. Ранее существовал традиционный, огромный культурный разрыв между естественными и гуманитарными науками: пропасть между художественной культурой, формальным миром искусства и политики, научной культурой, сферой машиностроения и промышленности. Но стены пропасти крошатся и осыпаются. Техническая культура вышла из-под контроля. Современный научный прогресс настолько разительный, тревожный, возмутительный и революционный, что его уже не сдержать. Он массивно вторгается в культуру; он — агрессивный захватчик; он везде. В виде товаров, машин, коммуникационных технологий, продуктов питания, произведений искусства, городских территорий <...> появляется новый мир материальностей и объектностей. Разговаривая с разумными машинами, модифицируя свое тело посредством технологий протезирования и геной инженерии, срастаясь с мобильными телефонами, блуждая в виртуальном пространстве, воплощая фантазии робототехники, мы смешиваем собственную человеческую сущность с активными и деятельными объектами в завораживающей, но приводящей в замешательство манере. Тела стали киборгами — кибернетическими организмами — состоящими из гибридного техно-органического материала, <...> биологические тела превратились в кибернетические системы коммуникации: протезы конечностей, электросхемы-имплантаты, пластическая хирургия, генетическая модификация. Еще мощнее звучит тема вмешательства в человеческий разум: интерфейс мозг-компьютер,

искусственный интеллект, нейрохимия — техника дает новое, радикальное определение человеческой природе.

Всего трем из двух десятков коллег, которым я предложил решить эту задачу, удалось угадать границы двух фрагментов из четырех. Подавляющее большинство (даже если они верно проводили хотя бы одну границу между фрагментами) неизменно атрибутировали текст фантастического манифеста социологам, а авторство социологического манифеста — фантасту.

Итак, раскроем карты:

Брюс Стерлинг, «Манфест киберпанков» (предисловие к сборнику фантастических рассказов «Зеркальные очки»): «Взаимопроникновение стало главным источником культурной энергии нашего десятилетия. Работы киберпанков идут параллельно с поп-культурой 80-х: с рок-видеоклипами, с хакерским подпольем, с режущей слух уличной техникой хип-хопа и скретчами, с синт-роком Лондона и Токио. Этот феномен, эта динамика всемирна; киберпанк — ее литературное воплощение. В другое время такая комбинация могла бы показаться искусственной и чрезмерной. Существовал традиционный, огромный культурный разрыв между естественными и гуманитарными науками: пропасть между художественной культурой, формальным миром искусства и политики, научной культурой, сферой машиностроения и промышленности. Но стены пропасти крошатся и осыпаются. Техническая культура вышла из-под контроля. Современный научный прогресс настолько разительный, тревожный, возмутительный и революционный, что его уже не сдержать. Он массивно вторгается в культуру; он — агрессивный захватчик; он везде. Традиционная силовая структура, устоявшиеся организации, ведомства, институты потеряли контроль над темпом перемен» [Стерлинг 2014: 34].

Дик Пелс, Кевин Хезернглтон, Фредерик Ванденберге, «Статус объекта: перформативности, медиации и техники» (предисловие к специальному выпуску “Theory, Culture and Society”): «Объекты вновь возвращаются в современную социальную теорию. В виде товаров, машин, коммуникационных технологий, продуктов питания, произведений искусства, городских территорий <...> появляется новый мир материальностей и объектностей. Разговаривая с разумными машинами, модифицируя свое тело посредством технологий протезирования и геной инженерии, срастаясь с мобильными телефонами, блуждая в виртуальном пространстве, воплощая фантазии робототехники, мы смешиваем собственную человеческую сущность с активными и деятельными объектами в зазора-

живающей, но приводящей в замешательство манере» [Pels, Netherington, Vandenberghe 2002: 1].

Донна Харауэй, «Биополитика постсовременных тел: конституирование “Я” в дискурсе иммунных систем»: «Тела стали киборгами — кибернетическими организмами — состоящими из гибридного техно-органического материала. <...> В 1950-х гг. биологические тела превратились в кибернетические системы коммуникации, но еще не были в полной мере реконституированы как области “различия” в постсовременном значении» [Haraway 1991: 31]¹.

И вновь фантаст Брюс Стерлинг: «В киберпанке есть несколько центральных тем. Тема вмешательства в человеческий организм: протезы конечностей, электросхемы-имплантаты, пластическая хирургия, генетическая модификация. Еще мощнее звучит тема вмешательства в человеческий разум: интерфейс мозг-компьютер, искусственный интеллект, нейробиология — техника дает новое, радикальное определение человеческой природе, природе личности».

ПКМ-1 — довольно дорогое приобретение. Поскольку речь уже не идет о простой реконцептуализации вещей (с чего начинается эпистемическая эмансипация материальности), нам придется отказаться от множества привычных интуиций, метафор и понятий. Например, от дурной привычки использовать «повседневные практики» в качестве универсального дескриптора и общего знаменателя изучаемого нами мира. Больше нет практик и их объектов — есть объекты и их практики.

Что это значит, в частности, для социологии повседневности? Теперь сам концепт повседневности должен быть пересмотрен. Повседневность повседневна именно потому, что конституирована не одними людьми. Мы должны научиться видеть материальные объекты как конституэнты социального порядка. Описать действия вещей, выделить функциональные модули, в которых вещи «собирают» повседневную социальность, создать новый язык мышления о взаимодействиях — язык не символического, а объект-центричного интеракционизма². ПКМ-1 — самый продуктивный из вызовов, брошенных социологии повседневности за последние сорок лет. Чтобы спасти идею повседневности после «Поворота к материальности — 1», нам придется ее «пересобрать».

Но при чем здесь Латур?

¹ Пер. с англ. А.Г. Кузнецова.

² О родстве символического интеракционизма и акторно-сетевой теории см.: [Кузнецов 2014].

Ссылки на работы Б. Латура, М. Каллона и Дж. Ло стали обязательными ритуальными элементами практически для всех авторов ПкМ-1. Латуровская риторика — несомненно, одна из самых сильных в этом движении. Только Латур может быть до абсурда последователен на пути эмансипации материальности — вплоть до призыва дать объектам право голоса и требования созвать «парламент вещей». В результате складывается ложное впечатление, что именно создателям акторно-сетевой теории мы обязаны победным шествием ПкМ-1. Однако латуровская ставка куда выше эпистемической эмансипации материальности. Он (равно как и его коллеги) вовсе не стремится к обособлению одного частного региона (X) в предметном поле (Z) с последующим перемещением освобожденных феноменов в зону региональной онтологии (Y). Ровным счетом наоборот! Латур пытается устранить саму границу между этими множествами, разобрать на части объяснительную машинерию социологии, навязать ей принципиально иной способ мышления о мире — способ, в котором по-другому проведено различие между вещами и не-вещами. Сегодня Латур, как ни странно, главный противник ПкМ-1 и социологии вещей в нашем понимании. Наиболее радикальную, инспирированную Латуром, версию поворота к материальному я далее буду называть «Поворот к материальному — 2».

Общим для двух версий ПкМ является декларируемое стремление стереть грань между субъектом и объектом, человеками и не-человеками (non-humans). Но что скрывается за понятием «не-человека»? Дверной доводчик [Латур 2006]? Томограф [Mol 2002]? Португальский галеон [Ло 2006]? Морской гребешок [Callon 1986]? Или идея технического прогресса? Дух инноваций? Имперская идентичность? Французское сельское хозяйство? ПкМ-1 с готовностью присваивает статус действующих субъектов вещам, но с настороженностью относится к нематериальным сущностям, тем более таким аморфным и трудноуловимым. Однако для авторов ПкМ-2 имперская идентичность может быть даже в большей степени действующим субъектом, чем все материальные объекты вместе взятые. Понятие “non-human” оказывается до крайности двусмысленным, когда вслед за уже отринутым делением на людей и не-людей мы по стопам Латура и Ло отказываемся от различия между вещами и нематериальными сущностями.

Какова архитектура этого отказа? В какой момент ПкМ-2 становится «поворотом от материального»? Попробуем детально рассмотреть данный сюжет на примере старой работы Джона Ло о социальной топологии португальских галеонов. «Корабль, — пишет Ло, — может быть представлен в виде сети — сети остовов, рангоутов, парусов, канатов, пушек, складов

продовольствия, кают и самой команды. С другой стороны, при более обобщенном рассмотрении, навигационная система, со всеми ее эфемеридами, астрольбиями и квадрантами, таблицами расчетов, картами, штурманами и звездами, также может быть рассмотрена как сеть. Далее, при еще более отстраненном анализе, вся португальская имперская система в целом, с ее портами и пакгаузами, кораблями, военными диспозициями, рынками и купцами может быть описана в тех же категориях» [Ло 2006: 224].

В данном описании все предметы исследования рассматриваются как «объекты» — корабль, навигационная система, португальская империя. Объектами их делают устойчивые связи и отношения друг с другом. Особый акцент на устойчивости: «Штурманы, противники-арабы, ветра и течения, команда, складские помещения, орудия: если эта сеть сохраняет устойчивость, корабль остается кораблем, он не тонет, не превращается в щепки, напоровшись на тропический риф, не оказывается захваченным пиратами и уведенным в Аравийское море. Он не пропадает, не теряется, до тех пор пока команда не сломлена болезнями или голодом. Корабль определяется своими отношениями с другими объектами, и акторно-сетевой анализ направлен на исследование стратегий, которые производят (и, в свою очередь, произведены) этой *объектностью*, синтаксисом или дискурсом, определяющими место корабля в сети отношений» [Ло 2006: 227; курсив автора. — *B. V.*]. Разрыв сети отношений кладет конец дискретной объектности.

Сеть отношений трактуется Ло как топологическая система, определенная «форма пространственности». Пространство (здесь Ло последовательный лейбницанец) — это порядок объектов, объекты суть пересечения отношений. Изменение отношений приводит не только к изменениям самих объектов, но и к изменениям форм пространственности.

Как объект, корабль пространственно или топологически множественен: «Он занимает — а также преобразует — два типа пространства. Географическое и семиотическое (сетевое)». Он неизменен в каждой из форм пространства и сохраняется в обоих: физически — в географическом пространстве, функционально или синтаксически — в семиотическом (сетевом) пространстве. Двигается он только в географическом пространстве. Напротив, в пространстве сетей он неподвижен, никакого изменения отношений между компонентами не происходит. (А если происходит, значит, что-то не так, значит, это уже другой объект.) Именно неподвижность в сетевом пространстве делает возможным его перемещение в пространстве географическом, позволяя переплывать из Калькутты в Лисса-

бон с грузом специй. Перемещение из точки А в точку В некоторого объекта происходит благодаря устойчивости отношений между различными элементами сети, в которой этот объект находится. Если произойдет смещение в пространстве сетей (т.е. если изменятся конституирующие объект отношения), корабль просто перестанет быть «кораблем X с грузом Y, следующим курсом Z», а станет чем-то иным: обломками корабля, Летучим Голландцем или просто деревом для костра.

Здесь необходимо задать социальной топологии вопрос: всякий ли объект пространства сетей находится также и в евклидовом пространстве? Иными словами, говорим ли мы исключительно об объектах одной топологической природы?

Приведу пример из нашего недавнего исследования социальной топологии города [Вахштайн 2014]. Кафе возле музея-заповедника «Коломенское» обладает устойчивым ядром отношений. Одни отношения описываются географически (кафе «близко» к парку и «недалеко» от метро), другие связывают официантов, менеджеров, поваров и поставщиков продуктов (социологи предпочитают именовать такие отношения «организационными»). Каждая дисциплина — география, социология, экономика, юриспруденция и даже химия (когда дело доходит до размораживания и готовки) — посредством своего собственного теоретического словаря выделяет и описывает одно подмножество релевантных отношений, игнорируя остальные. «Социологическое» кафе будет довольно сильно отличаться от «географического». При этом заведение сохраняет свою идентичность до тех пор, пока необходимый минимум связей остается неизменным. Отказ подавать бизнес-ланчи или смена основного поставщика, скорее всего, не приведут к смещению кафе в пространстве сетей, а вот взрыв бомбы на террасе, видимо, станет не гомеоморфным преобразованием.

А как быть с курением? Табачный дым — весьма аморфный, но все же материальный объект. Его отсутствие или наличие — Ло сказал бы «включение» (enrollment) или «введение в действие» (enactment) [Law 2004] — может стать значимым для конститутивного ядра данного заведения. Кафе, в которых на террасах все еще можно курить после недавнего запрета на курение в общественных местах, существенно изменили свою целевую группу, ценовую политику и даже архитектурный облик: пришлось устранить все внешние стены террасы, чтобы она формально стала частью улицы. Как выяснилось, «курящее» и «некурящее» кафе — это два топологически разных объекта.

Пойдем дальше. Как быть с музыкой? Если завтра в кафе у Коломенского вместо сборника “Romantic Collection” начнет

играть сборник песен М. Круга? Кафе с «Владимирским центром» и без — это одно и то же кафе? И если нет, должны ли мы заключить, что песни Круга — материальные объекты, локализованные в евклидовом пространстве?

Пуристская версия социальной топологии (в духе ПкМ-1), вероятно, запретит нам апеллировать к нематериальным сущностям как топологическим объектам. Все, что не находится в евклидовом пространстве, не существует и в пространстве сетей. Однако это идет вразрез со всей логикой акторно-сетевой теории, частью которой является социальная топология. «Сетевая формула» города состоит из элементов топологически разной природы. Некоторые из них нематериальны (т.е. обладают пропиской в пространстве сетей, не будучи «гражданами» физического пространства). Знаки, образы, метафоры, нарративы суть объекты сетевого пространства («узлы сети»), как галеон, кафе или «Коломенское».

Латур, Ло и Каллон устранили различие между «человеками» и «не-человеками», показав, что морские гребешки, микробы, дверной доводчик и втулочный насос разделяют с людьми свойство агентности, т.е. способность быть актантами, действующими лицами, конституэнтами социального мира. Этот обманчивый маневр (фокусировка на агентности вещей) скрыл под видом «поворота к материальному» куда более фундаментальный теоретический сдвиг: рядоположение материальных и нематериальных актантов. Потому что «не-человеки» — это не только морские гребешки и втулочные насосы. Это также и «имперская идентичность», добавляющаяся к технологиям португальской колониальной экспансии [Law 2004], и математические уравнения, действующие на рынке наряду с товарами и торговцами. Различие между людьми и материальными объектами с точки зрения социологической доксы устранить куда легче, чем различие между материальными и нематериальными актантами. Однако формула Блэка — Шоулза — Мертона в исследовании Д. Маккензи является действующим актантом, который приобретает все большую агентность на рынке опционов, пока не приводит его к обвалу [Mackenzie 2006].

У такой линии интерпретации есть основание в истории акторно-сетевой теории. Термин «актант» Бруно Латур заимствует у своего учителя А. Греймаса, главы Парижской школы семиотики. Недавнее исследование [Напреенко 2013] показало этот переход — в какой момент Латур решает «опрокинуть семиотику в онтологию», распространив принципы семиотического анализа на объекты «по ту сторону текста». В этой новой онтологии что-то может быть признано существующим лишь по эффектам своего конститутивного действия (по силе и количе-

ству связей с другими актантами); есть метафоры, которые «существуют» куда больше некоторых людей и вещей. Онтологический статус не априорная, а достижительная характеристика. Джон Ло лишь предлагает изящную (топологическую) версию латуровской семиотики¹.

ПкМ-2 — это в полном смысле слова «онтологический поворот». Материальность (освобождение которой заявлено как главная задача авторами ПкМ-1) для последовательных латурианцев — всего лишь разменная монета. Они жертвуют ей как пешкой уже в дебюте².

Как следует из нашего краткого сопоставления, названия «поворот» в полной мере заслуживает только ПкМ-2. Лишь в работах сторонников «онтологического поворота» заявлена претензия на смену дисциплинарной аксиоматики: не просто перенос границы между двумя множествами элементов (предметного поля и онтологического ядра), но отказ от проведения этой границы как таковой. Тем не менее, если бы не успех авторов ПкМ-1, с их утопическими манифестами и не ослабевающим вниманием к материальным объектам, вряд ли бы в этот самый момент такое количество авторов по всему миру вчитывались бы в тексты Б. Латура. Латур как актант обязан силе своего конститутивного действия тому самому проекту (ПкМ-1), который хотел бы оставить в прошлом³, чтобы дать место новой социологической онтологии, где уже не будет ни «материального», ни «нематериального», а только «действующее» или «недействующее» (ПкМ-2).

Но мы вовсе не обязаны следовать так далеко за Латуром и Ло. Можно остановиться на первом шаге и использовать ресурсы акторно-сетевой теории для работ в логике ПкМ-1; благо, тексты создателей теории это позволяют⁴. Просто нужно помнить, что такое использование будет именно «использованием», т.е. некоторой производной, адаптированной версией, идущей вразрез с замыслом самих теоретиков «онтологического поворота». Выбор прост. Или эмансипация материальности ценой некоторой модификации социологического языка (ПкМ-1), или радикальный отказ от самого этого языка в пользу новой

¹ Несколько иную интерпретацию см.: [Руденко 2012].

² Здесь кажется любопытным сопоставление двух «поворотов к материальному» в исследованиях архитектуры. Пока антропологи заняты пересмотром своих представлений о жилище в духе ПкМ-1 [Buchli 2013], представители манчестерской школы социологии архитектуры пытаются быть последовательными латурианцами [Guy, Coutard 2007; Yaneva 2005].

³ См. сборник работ отцов-основателей акторно-сетевой теории, который должен был стать ее эпифанией: [Law, Hassard 1999].

⁴ Мы попытались это сделать в исследовании технического конституирования архитектурного объекта: как изобретение лифта повлияло на эволюцию идеи здания [Вахштайн 2014].

онтологии, уравнивающей в правах людей, вещи и идеи (ПкМ-2). Огрубляя: или «поворот», или «к материальному».

Главное — помнить, что эти два проекта имеют разную цену и разную стоимость обслуживания. И никаких гарантийных обязательств.

Библиография

- Александр Дж., Смит Ф.* Сильная программа в культурсоциологии / Пер. с англ. С. Джакуповой // Социологическое обозрение. 2010. Т. 9. № 2. С. 11–30.
- Вахштайн В.С.* Пересборка города: между языком и пространством // Социология власти. 2014. № 1. С. 9–38.
- Вахштайн В.С.* Действующие вещи. Как материальные объекты конституируют социальные взаимодействия? // Журнал социологии и социальной антропологии. 2015 (в печати).
- Волков В.В., Хархордин О.В.* Теория практик. СПб.: ЕУСПб, 2008.
- Дюркгейм Э.* Самоубийство: Социологический этюд. М.: Мысль, 1994.
- Копытофф И.* Культурная биография вещей: товаризация как процесс // Социология вещей / Под ред. В. Вахштайна. М.: Территория будущего, 2006. С. 134–168.
- Кузнецов А.Г.* Символический интеракционизм и акторно-сетевая теория: точки пересечения, пути расхождения и зона обмена // Социология власти. 2014. № 1. С. 64–75.
- Латур Б.* Где недостающая масса? Социология одной двери // Социология вещей / Под ред. В. Вахштайна. М.: Территория будущего, 2006. С. 199–222.
- Латур Б.* Пересобирая социальное. Введение в акторно-сетевую теорию. М.: ГУ ВШЭ, 2014.
- Латур Б.* Политика объяснения / Пер. с англ. А. Кузнецова // Социология власти. 2012. № 8. С. 121–138.
- Ло Дж.* Объекты и пространства // Социология вещей / Под ред. В. Вахштайна. М.: Территория будущего, 2006. С. 30–42.
- Напреенко И.* Семиотический поворот в STS: теория референта Бруно Латура // Социология власти. 2013. № 1–2. С. 75–97.
- Нидлмен Я.* Систематическое объяснение и наука психоанализа // Бинсвангер Л. Бытие-в-мире. М.: Рефл-Бук, 1999. С. 224–246.
- Руденко Н.И.* Сети, знание и реальность: проблематика социальной топологии в концепции Джона Ло // Социология власти. 2012. № 6–7 (1). С. 38–51.
- Стерлинг Б.* Зеркальные очки. Антология киберпанка / Пер. с англ. С. Крикуна. М.: Фантастика, 2014.
- Шюц А.* О множественности реальностей // Социологическое обозрение. 2003. Т. 3. № 2. С. 3–34.
- Appadurai A.* Introduction: Commodity and the Politics of Value // A. Appadurai (ed.). The Social Life of Things. Commodities in Cultural Perspective. Cambridge: Cambridge University Press, 1986. P. 1–24.

- Buchli V.* Anthropology of Architecture. L.: Berg Publishers, 2013.
- Callon M.* Some Elements of a Sociology of Translation Domestication of the Scallops and Fishermen of St Brieux Bay // *J. Law* (ed.). Power, Action and Belief: A New Sociology of Knowledge? L.: Routledge and Kegan Pol, 1986. P. 196–223.
- Douglas M., Isherwood B.* The World of Goods. L.: Routledge, 1996.
- Guy S., Coutard O.* STS and the City. Politics and Practices of Hope // Science, Technology and Human Values. 2007. Vol. 32 (6). P. 11–32.
- Haraway D.* The Biopolitics of Postmodern Bodies: Constitutions of Self in Immune Systems Discourse // Haraway D. Simians. Cyborgs and Women: The Reinvention of Nature. N.Y.: Routledge, 1991. P. 24–47.
- Law J.* After Method: Mess in Social Science Research. L.: Routledge, 2004.
- Law J., Hassard J.* (eds.). Actor-Network Theory and After. Oxford; Keele: Blackwell and the Sociological Review, 1999.
- Mackenzie D.* An Engine, Not a Camera: How Financial Models Shape Markets. Cambridge, MA: MIT Press, 2006.
- Mol A.* The Body Multiple. Ontology in Medical Practice. Durham: Duke University Press, 2002.
- Pels D., Hetherington K., Vandenberghe F.* The Status of the Object: Performances, Mediations and Techniques // Theory, Culture and Society. 2002. Vol. 19. No. 5/6. P. 1–22.
- Schatzki T. et al.* (eds.). The Practice Turn in Contemporary Theory. N.Y.: Routledge, 2001.
- Thompson M.* Rubbish Theory. Oxford: Oxford University Press, 1979.
- Weiss P.* Modes of Being. Carbondale, IL: Southern Illinois University Press, 1958.
- Yaneva A.* Scaling Up and Down: Extraction Trials in Architectural Design // Social Studies of Science. 2005. Vol. 35 (6). P. 15–38.

ЕВГЕНИЙ ВДОВЧЕНКОВ

«Незамеченные революции» в антропологии и археология, или Почему археологи не читают Бруно Латура

Бруно Латур в своих работах предлагает нам новое видение реальности и новую теорию знания, позволяющие объединить как социальные и естественные науки, так и объекты их изучения — природу и культуру. Согласно акторно-сетевой теории, предлагаемой Латуром, мир представлен не как совокупность субъектов и объектов,

Евгений Викторович Вдовченко

Южный федеральный университет,
Ростов-на-Дону
vdovchenkov@yandex.ru

а как населенный «квазиобъектами» или «гибридами», взаимодействующими в рамках сетей [Латур 2014].

Позиция Бруно Латура характеризуется как «материалистический поворот». Конечно, он не может не вызывать интереса антропологов, и мы можем также говорить о возможности развития этого направления для археологов. Однако в археологической мысли работы французского исследователя (как и других ученых, обозначенных инициаторами дискуссии при постановке проблемы) не нашли сколько-нибудь заметного отражения. Это интересный момент — ведь известно, что археологи пристально следят за достижениями антропологов и этнографов. Обычно не очень системно, но в археологических трудах мы постоянно видим отсылку к этнографическим работам, тонкие наблюдения и вдумчивое использование наработок антропологической мысли.

Л.С. Клейн отметил важную особенность археологии — она следует в своем развитии за антропологией [Клейн 2011: 116]. Телеконнекция — проникновение идей одной дисциплины в другую — в археологии показана Л.С. Клейном в его обстоятельном труде [Клейн 2011: 480–483, рис. 44.3]. Эволюционизм, диффузионизм, структурализм сформировались в антропологии, а затем эти концепции были разработаны на археологическом материале. Это, в общем, закономерно — ведь археология работает с остатками культуры и должна учитывать результаты работы антропологов с «живым» материалом. Археология вторична по отношению к антропологии в том, что касается закономерностей появления и развития культур.

Однако указанный организаторами дискуссии «революционный поворот» практически не коснулся отечественной археологии. Говоря о закономерностях развития российской археологии, следует указать на ряд обстоятельств, препятствующих наполнению археологии новыми идеями.

Один из самых существенных факторов — это консерватизм академической среды. Конечно, для археологов характерен эмпиризм и недоверие к «излишнему» теоретизированию, любовь к фактологии и деталям (что хорошо показал Л.С. Клейн в главе про эмпирические школы [Клейн 2011: 118–144]). Главная задача археолога — исследовать и опубликовать памятник и затем его интерпретировать. Индуктивный подход к материалу бесспорно доминирует. Любовь к деталям, фактам, стремление к доскональному знанию материала, известная осторожность в выводах определяют сильные стороны археологии, но этот здоровый консерватизм накладывает ограничения и вызывает скепсис по отношению ко всяким -измам.

Так, характерна критическая реакция археологов на пост-модернизм [Медведев 2007].

Ситуацию в современной археологии можно проследить по тематике секций на IV (XX) Всероссийском археологическом съезде, состоявшемся в Казани 20–25 октября 2014 г. Если убрать традиционную хронологическую и региональную проблематику (например, «Энеолит — эпоха средней бронзы»), то остается девять направлений из 21 секции. Есть две секции по городам и урбанизации, четыре — по естественно-научным методам в археологии, по одной на историографию, охрану памятников, изучение первобытного искусства. Но нет ничего, что бы выбивалось за пределы традиционной археологической проблематики. Например, никак не представлена социальная археология и проблемы социальных реконструкций — академическая археология строго следит за соблюдением предмета исследования. Конечно, формат главной российской археологической конференции, и так достаточно насыщенной (материалы конференции вышли в четырех томах), не всегда предполагает новые экспериментальные площадки. Но дело в том, что консерватизм предпочтений сказывается и на формате и темах других конференций. Любопытно, что эмпиризм зачастую самым естественным образом сочетается с марксистскими установками и теориями, усвоенными чуть ли не полвека назад. Это особенно хорошо заметно по социальной интерпретации материала (где неизбежно сказываются марксистские трактовки и интерпретации).

При открытии новых исследовательских зон и постановке новых проблем очень важен фактор личности исследователя и его научного веса. При соблюдении этого условия возможно расширение проблемного поля. В качестве примера можно привести работы Л.С. Клейна (по целому ряду проблем) и В.М. Массона, посвященные проблемам культурогенеза. Отсутствие новых лидеров сказывается на состоянии исследований.

Я разделяю популярную сейчас точку зрения, согласно которой археология — это наука о культуре, а не историческая дисциплина. В этом плане важно понимание культурного процесса и анализ его теоретических аспектов. При всем значении культурных штудий развитию археологии препятствует ситуация в культурологии, а также слабое взаимодействие между культурологией и археологией. По идее, культурология должна проводить осмысление культурного процесса и разрабатывать теоретические аспекты проблем культурогенеза, трансформации культур и т.п. (см., например, работы А.В. Бондарева: [Бондарев 2009а; 2009б]). В действительности положение в культурологии трудно назвать сколько-нибудь удовлетвори-

тельным, и результативное сотрудничество между археологией и культурологией не сложилось.

При анализе ситуации в археологии невозможно ограничиться теоретическими проблемами. Большое значение имеют обстоятельства работы археологов. В настоящее время, исходя из сферы деятельности, можно выделить четыре группы исследователей:

- академические научные институты и центральные музеи;
- вузы;
- местные музеи;
- организации, осуществляющие охрану памятников и проводящие раскопки в рамках хоздоговорной деятельности.

Граница между сотрудниками этих организаций проложена, конечно же, не так строго (сотрудник вуза может работать в хоздоговорной организации, а представители академических институтов работают в вузах), но разница все же существует, и по поводу каждого археолога можно сказать, в какой сфере он работает. Несмотря на то что академические научные институты играют значительную роль в развитии науки, в настоящее время особо следует выделить роль университетской науки и деятельность хоздоговорных организаций. Последние проводят огромный объем работ, и в эти работы так или иначе вовлечена большая часть археологов. Хоздоговорные работы отнимают все время — с весны по осень исследователи обычно проводят в поле, а зимой пишут отчеты. Количество материала растет, но итоги масштабных раскопок 1960–1980-х гг. далеко не все введены в оборот. На первом месте в любом случае стоят задачи публикации и первичной интерпретации полученного материала, что не оставляет времени для теоретических разработок.

Вузовские сотрудники копают меньше. Их работы связаны с организацией археологических практик и деятельностью в постоянных экспедициях, где есть возможности для более обстоятельных раскопок (если удастся решить проблемы с финансированием). Вузовские ученые более склонны к теоретическому осмыслению материала и постановке новых проблем. К этому их подвигает необходимость читать лекционные курсы, где волей-неволей приходится обобщать и анализировать. К этому же приводит общение с коллегами — этнографами, историками, философами (например, автор этих строк узнал о Бруно Латуре от коллеги-психолога).

Здесь есть свои подводные камни: усиление бюрократического контроля, увеличение объемов отчетной документации и новые стандарты довольно заметно осложняют жизнь преподава-

телей (в том числе и археологов) в вузе. Я на себе испытываю суровые реалии экспериментального вуза — Южного федерального университета, который вот уже восемь лет лихорадит от непрекращающихся реформ, что сказывается на результативности работы.

Нельзя не затронуть ситуацию с археологическим образованием. Усвоению идей современной антропологии препятствует дисциплинарная принадлежность археологии. Если на Западе (например, в США) археология относится к антропологическим дисциплинам, то в России археология является частью исторического направления [Клейн 2005: 43–44]. Независимо от того, как мы интерпретируем археологию как науку, подготовка археологов идет на исторических факультетах. В рамках подготовки историков-бакалавров археологи испытывают острую нехватку антропологических дисциплин. Они касаются соответствующих тем на курсах «История первобытного общества» и «Этнография и этнология»¹, которые часто преподаются в традиционном ключе. Про социологию и говорить нечего — уровень преподавания ее на историческом факультете и уделяемые ей часы не позволяют говорить о хорошем знании предмета. Поэтому будущие археологи не получают системного представления об антропологических дисциплинах, и нас не должна удивлять ситуация в социальной археологии, когда представления археологов о социальном очень далеки от таковых социологов и антропологов [Гуляева 2006; Крадин 2009].

Археологи получают диплом историка — специальности «археолог» в перечне направлений обучения не существует. Отсутствие специальности «археология» не позволяет формировать должную программу обучения археологов с большим объемом дисциплин по антропологии. В какой-то степени удастся это преодолеть за счет преподавания в магистратуре, но далеко не всегда. Эта ситуация в образовании весьма серьезно сказывается на уровне подготовки археологов.

Отдельно следует отметить актуальную в случае с археологами языковую проблему, для столичных археологов, может, не столь и существенную, но заметную в провинции. Уровень знания языков оставляет желать лучшего у многих исследователей. Это не столь важно для археологов-полевиков, но становится актуальным при интерпретации материала. Конечно, при работе постоянно обращаются к текстам на других языках, но это обычно сугубо археологические тексты и довольно часто — каталоги. Систематическое чтение теоретической

¹ Дисциплина может называться и по-другому (например, «Социальная антропология и этнография», что, впрочем, не всегда сказывается на содержании).

литературы на английском и других языках среди археологов явление довольно редкое: теоретические работы читают обычно на русском. А, как уже замечено, работы по “material studies” еще не получили значительного распространения в отечественной литературе.

Применение акторно-сетевой теории в археологии вполне возможно. Традиционные объекты материальной культуры (артефакты, технические комплексы, животные и др.) могут быть рассмотрены как действующие единицы социальных отношений. Особенно это выглядит интересным для социальной археологии. При социальных реконструкциях на базе археологического материала возникает проблема нехватки методических подходов. Огромный массив археологических данных обрабатывается довольно стандартным набором приемов и методов (анализ погребального обряда, жилищ и поселений; подсчет трудозатрат; выявление уровня богатства и социальной стратификации; анализ мужской, женской и детской субкультур и т.д.). Акторно-сетевая теория, выводящая в качестве активного участника сетевого взаимодействия артефакты материального мира, позволяет взглянуть на проблему с нового ракурса.

Автор, работающий в проблемном поле как археологии, так и антропологии, может вопрос о неиспользовании нового подхода адресовать себе. Препятствием при работе над теорией является то обстоятельство, что в социальной археологии зачастую не проделана первичная работа с археологическим материалом¹ и до новых подходов просто не доходят руки. Но тема представляется перспективной. Например, общество кочевников очень зависело от технических новаций, которые серьезно изменяли культурное и социальное пространство кочевников. Хорошо известно, какие значительные последствия имели появление стремени, жесткого седла, сабли, катафрактарной конницы у кочевников. Вслед за *эссе об одной двери* [Латур 2006] можно написать *эссе о сарматской катафракте*, и я думаю, что это — вопрос времени.

Отвечая на заголовок своей статьи, хочу отметить, что для археологов отмеченные обстоятельства невнимания к антропологической теории отнюдь не фатальны. Я уверен, что археологи, которые внимательно следят за новшествами в антропологии, отзовутся своими публикациями — нужно подождать 5–10 лет. Отставание археологии логично и закономерно. В археологии в полной мере заявляет о себе новое поколение 20–30-летних, которые принесут новые идеи и реализуют их в своих трудах.

¹ В области сарматской археологии, например, еще нет ни одного монографического исследования, посвященного социальной реконструкции сарматского общества.

Библиография

- Бондарев А.В.* Вклад ГАИМК — ИИМК РАН в становление отечественных культурогенетических исследований // Проблемы культурогенеза и культурного наследия: Сборник статей к 80-летию Вадима Михайловича Массона. СПб.: Инфо-Ол, 2009а. С. 36–87.
- Бондарев А.В.* Культурогония и культурогенез: к проблеме содержательного разграничения // “Homo Eurasicus” у врат искусства: Сборник научных трудов / Отв. ред. Е.А. Окладникова. СПб.: Астерион, 2009б. С. 227–245.
- Гуляева Н.П.* Социальные реконструкции в археологии: проблема глазами социолога // Теория и практика археологических исследований: Сборник научных трудов / Отв. ред. А.А. Тишкин. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2006. Вып. 2. С. 194–215.
- Клейн Л.С.* История археологической мысли. СПб.: СПбГУ, 2011. Т. 2.
- Клейн Л.С.* Обучение археологии в Петербурге: традиции и проблемы // Антропологический форум. 2005. № 3. С. 38–58.
- Крадин Н.Н.* Археологические культуры и этнические общности // Теория и практика археологических исследований: сборник научных трудов / Отв. ред. А.А. Тишкин. Барнаул: Азбука, 2009. Вып. 5. С. 9–19.
- Латур Б.* Где недостающая масса? Социология одной двери. В честь Роберта Фокса / Пер. с англ. Н. Мовниной // Социология вещей: Сб. ст. / Под ред. В.С. Вахштайна. М: Территория будущего, 2006. С. 199–223.
- Латур Б.* Пересборка социального. Введение в акторно-сетевую теорию / Пер. с англ. И. Полонской. М.: ВШЭ, 2014.
- Медведев А.П.* «Постмодернистский вызов» истории: ответ археологии // Вестник ВГУ. Сер. История, политология, социология. 2007. № 1. С. 41–51.

МАРИЯ ЕРОФЕЕВА**Мария Александровна Ерофеева**

Санкт-Петербургский
государственный университет /
Российская академия народного
хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ,
Москва
malutcacnos@gmail.com

**Акторно-сетевая теория
как методологический проект¹**

Отечественная социология не проигнорировала «поворот к материальному» [Вахштайн 2006]: об этом свидетельствует большое количество переводов и публикаций, появившихся в последние несколько лет.

¹ Данный текст написан по материалам НИР «Новые горизонты теории социальных событий: создание инвент-аналитической модели исследования социального действия», выполненной по Государственному заданию РАНХиГС за 2014 г.

Однако это не означает, что российские социологи по каким-то причинам оказались более восприимчивыми к ультрасовременным теоретическим ноу-хау, чем антропологи. Прежде чем говорить о ситуации в отечественной социологии и антропологии, стоит обратиться к вопросу, почему в антропологии вообще было легче не заметить эти теоретические сдвиги.

Во-первых, исследования материальной культуры всегда составляли обширный регион антропологической науки. Для социологов материальные объекты практически не существовали. Суть поворота к материальному в социологическом теоретизировании можно кратко изложить следующим образом: ранее статус материальных объектов был ограничен их функционированием в качестве инструментов действия, его инфраструктуры или проекции социальных смыслов [Латур 2007: 88]. Революция заключается в приписывании объектам равного с людьми статуса в производстве действия. Вследствие этого теоретического шага становится «социологически интересным и эмпирически возможным анализировать механизм велосипеда, дорожное покрытие, геологию камней, психологию ранений и т.п.» [Латур 2006а: 343]. Концептуализация материальных объектов как активных агентов действия, предпринятая рядом социальных ученых в 80–90-е гг. XX в., бросает вызов социологической аксиоматике.

Во-вторых, концептуальные и методологические новшества, предлагаемые теоретиками предметного мира, оказались по духу гораздо ближе антропологии, чем социологии (хотя ближе всего к ним находятся семиотики и теоретики литературы)¹. По словам одного из ключевых фигурантов данного направления, автора акторно-сетевой теории (actor-network theory, далее ANT) Бруно Латура, «антропологам <...> повезло больше, и они позволили своим акторам развернуть гораздо более богатый мир» [2014: 62]. Антропологи, в сущности, всегда занимались тем, за что ратуют исследователи материальности, и для того чтобы воспринять плоды этой революции, им нужно было всего-навсего взять на вооружение несколько (существенных) методологических ориентиров. Социологам же необходимо полностью перестроить язык своих описаний.

Как это ни парадоксально, антропология оказывается менее восприимчивой к последствиям материального поворота именно потому, что она в определенной степени всегда смотрела в том же направлении. Они не носят для нее такого раз-

¹ Не случайно Бруно Латур решает проблему статуса модерна с помощью преодоления разрыва между социальными и материальными сущностями, он называет свою программу антропологической [Латур 2006б].

рушительного характера, как для социологии. Эффекты поворота к материальному для социологической теории подобны последствиям небольшого ядерного взрыва. Социологи при всем желании просто не могли не заметить этой теоретической революции (хотя, по-видимому, «ритуальная социология» [Иванов 2010] способна проигнорировать все что угодно); по выражению Виктора Вахштайна, она обладает принудительной релевантностью [2011б].

Отечественная социологическая наука не стала исключением. Однако антропологам не стоит с грустной завистью провожать социологов взглядом, потому что здесь нас ожидает еще более загадочный парадокс. Внимание российских социологов к новым теориям и концепциям не означает, что подразумеваемая ими методологическая революция не была проигнорирована. Возможно, слова Бруно Латура в этом отношении оказались пророческими: «Теперь, когда эта альтернативная социальная теория представлена в упорядоченном виде, читатели могут решать — пользоваться ли ей, исказить ли ее до неузнаваемости или, что всего вероятнее, все равно не обращать на нее внимания» [Латур 2014: 10]. Российские социологи-читатели чаще всего колеблются между вторым и третьим вариантами, успевая при этом остроумно их совмещать.

И это тоже следствие разрушительного эффекта поворота к материальному: социологи оказались настолько оглушены требованием приписать агентность материальным вещам, что пропустили мимо ушей, что требование это носит в первую очередь методологический характер¹. Эмансипация материального объекта из-под гнета социального объяснения, как может показаться, переворачивает отношения между социальным и материальным. Если социальная жизнь становится возможной благодаря объектам внешнего мира, материальное в определенном смысле предшествует социальному и детерминирует его. Представители поворота к материальному подвергаются такого рода интерпретациям уже на уровне своих программных заявлений.

Пожалуй, в России это в большей степени коснулось работ Бруно Латура. Например, так может быть понято следующее его высказывание: «Символы не фундаментальны. Когда у них есть *прочное основание*, когда когнитивные способности достаточно *инструментализированы* и сильны, тогда, возможно, есть смысл придавать им такое значение, но не раньше». Это утверждение направлено против символического интер-

¹ В этом отношении показательна рецензия Сергея Попова на главную методологическую работу коллеги Латура по ANT Джона Ло [2014].

акционизма: взаимодействие не может основываться на обмене и переинтерпретации символов, потому что у последних есть более прочное, предельное основание. И далее: «Почему бы не обратиться к чему-то еще — к тем *бесчисленным объектам*, которые отсутствуют у обезьян и повсеместно присутствуют у людей, локализируя или глобализируя взаимодействие?» [Латур 2007: 87; курсив наш. — М.Е.]. Таким предельным основанием полагаются материальные объекты.

Радикальный аналитический стиль работ Латура с его призывами свергнуть тиранию социального и обратить внимание на материальные объекты создает впечатление, что автор подстрекает к политическому (теоретическому) перевороту. Вместо тирании социального на престол надлежит возвести материальное. Амбиции автора, впрочем, гораздо серьезнее: он готовит не переворот, а революцию. Причем революцию методологического толка. Латур сравнивает акторно-сетевую теорию с путеводителем по местности [Латур 2014: 32]: она не укажет вам, как устроен социальный мир (социальное определяет материальное или наоборот), зато поможет в нем не заблудиться. Значение АНТ, следовательно, несмотря на эпатаж ее теоретических заявлений, носит преимущественно методологический характер. Эта-то революция и не была замечена большинством российских социологов.

Рассмотрим, какую модель социального мира нам предоставит акторно-сетевая теория, если мы будем придерживаться указанной линии интерпретации соотношения социального и материального. Ключевое различие, используемое в АНТ, это различие между проводниками (*intermediaries*) и посредниками (*mediators*). Проводники в буквальном смысле «проводят» действие, не трансформируя его. Иными словами, они способствуют реализации людьми собственных целей. К этому типу, конечно, можно отнести технологию. Проводники могут быть разной степени сложности (грубо говоря, и шариковая ручка, и персональный компьютер могут переносить действие письма), но поскольку действие в любом случае передается без изменений, они рассматриваются в качестве «черных ящиков». Латуровское определение черного ящика дает представление о том, что проводники могут быть в высшей степени сложными: «Когда множество элементов действуют как единое целое, и возникает то, что я буду называть черным ящиком» [Латур 2013: 214].

Помимо проводников, существуют также посредники, которые, в отличие от первых, могут модифицировать действия непредсказуемым образом. Поскольку их влияние на ход действия непредсказуемо, они становятся преградой на пути реа-

лизации людьми своих целей. Например, в романе «Двенадцать стульев» Ильфа и Петрова Киса Воробьянинов красит волосы в «радикальный черный цвет», но они становятся зелеными. Использованная им краска оказывается посредником. Качество, в котором выступает тот или иной объект, за ним жестко не закреплено. Латур пишет: «Удачным примером сложного проводника может служить хорошо работающий компьютер. <...> Но если компьютер сломается, он может стать до ужаса комплексным посредником» [Латур 2014: 59].

Итак, мы можем выделить два типа материальных объектов, которые в силу своей природы по-разному форматируют социальное. Их отличие можно описать как отличие своего и чужого, или подобного и отличного. С точки зрения существующего социального порядка, посредники всегда будут рассматриваться в качестве угрозы. Внутренние регионы социальной деятельности охраняются сетью материальных проводников, позволяющей людям отграничиться от безразличного и даже враждебного внешнего мира. Вещи, которые могут, вследствие своей незаинтересованности в людских проектах, «дать отпор», являются посредниками. Они нарушают установленный порядок. Стихийное бедствие, обрушившееся на город, подразумевает модификацию всех актантов¹ (разрушения, смерти, изменения климата и т.п.).

Такая трактовка акторно-сетевой теории представлена в работе Виктора Вахштайна [2011а: 171–185]. На ее примере проиллюстрируем, как ускользает методологическая значимость теоретической программы Латура из-за ее «онтологического» прочтения. Автор находит следующую закономерность: релевантность физического контекста для взаимодействия обратно пропорциональна степени его технического опосредования. Воспользуемся примером Латура. Пассажир поезда может считать, что он и поезд существуют сами по себе, но только до тех пор, пока все идет, «как часы». «Этого не произойдет, если он сядет на итальянский поезд, не говоря уже об индийском поезде; этого не случится также и в случае забастовки или другого инцидента, или просто если кондиционер работает не совсем так, как надо» [Latour 1997: 187]. Когда речь идет о швейцарских поездах, степень технического опосредования высокая и материальный контекст не играет никакой роли: пассажир может спокойно заниматься своими делами. Релевантность физического контекста нарастает, когда технологии либо

¹ В акторно-сетевой теории под актором понимается любое действующее лицо. Это может быть человек, животное, машина, идея, репрезентация — словом, все что угодно. В силу того что во взаимодействии невозможно отделить человека (humans) от не-человека (non-humans), действующих лиц Латур называет актантами.

недостаточно совершенны, либо дают сбои. В этом случае пассажиру все сложнее сохранять фокус внимания на своей деятельности, ему приходится отвлекаться на внешнюю среду.

Данная трактовка соответствует интерпретации проводников и посредников в качестве онтологических категорий. Ее объяснительные возможности направлены на особый класс ситуаций, предполагающих поломку (происшествия). Из зоны ее внимания ускользает значительное число событий, когда все идет «так, как надо». Более того, в представленной трактовке не учитывается методологическая значимость основного постулата поворота к материальному: приписать агентность объектам предметного мира. Если значение материальных объектов во взаимодействии сводится к техническому опосредованию, они выступают в качестве его условий или составляют его материальный контекст. Это означает, что они не рассматриваются как равноправные участники интеракции, потому что им приписывается либо малая степень агентности, либо агентность другого рода, не сопоставимая с человеческой.

Представленное понимание ключевого различия акторно-сетевой теории снижает его методологическую значимость. Оно противоречит основному постулату «социологии ассоциаций» — рассматривать акторов как посредников, а не как проводников [Латур 2014: 171–196]. Если же мы берем на вооружение этот методологический постулат, мы должны любое действующее лицо представить в качестве разрушительной силы, деформирующей действие¹. Казалось бы, материальность и есть та сущностная черта, которая является прочным основанием социальности, потому что именно она создает возможность столкновения внутреннего и внешнего миров; нельзя игнорировать твердость скрепок. Однако что такое понимание объектности добавляет к концептуализации материальных вещей в классической социологической теории? Ничего, кроме большого количества сломанных и неработающих объектов.

Понять методологическую значимость различия «посредник / проводник» можно в контексте более фундаментального методологического требования ANT (уравнивания человеческих и не-человеческих актантов), получившего название принципа обобщенной симметрии (*general symmetry*). Уравнять их значит постулировать, что в определенном отношении между ними нет разницы. Этот теоретический ход, понятый онтологически, создает достаточно шизофреническую картину

¹ Это предельная степень развития данной линии интерпретации. На самом деле в логике ANT проводники *трансформируют* действие без деформации.

мира¹. В пустой комнате (в которой нет людей) разворачивается прямо-таки мультипликационное взаимодействие оставленных без присмотра вещей, которое вмиг прекращается, стоит только в комнату зайти человеку. Действительно, если материальные объекты ничем не отличаются от людей в смысле их способности к взаимодействию, они должны общаться, так же как и люди. Но так как мы не замечаем этого «общения», остается предположить, что они делают это украдкой, чтобы люди не дай Бог не заметили!.. Нет, не разворачивается. Уравнивать человеческих и не-человеческих актантов не значит признать, что они *онтологически такие же*, как люди. Это не означает, что они действуют так же или в той же форме. Это означает, что с ними необходимо считаться, какими бы *онтологически отличными* они ни были.

В знаменитой дискуссии Латура и Каллона с представителем батской школы социологии научного знания Гарри Коллинзом и его соавтором Стивеном Йерли сторонниками акторно-сетевого подхода был высказан следующий аргумент: «Мы не утверждаем, что между ними [человеческими и не-человеческими актантами] нет никакой воспринимаемой разницы. Вопрос носит *методологический характер*» [Callon, Latour 1992: 356; курсив наш. — М.Е.]. В этом утверждении онтологическое и методологическое понимания исследуемого различия не противоречат друг другу, а одно логически вытекает из другого.

Существует некая иная онтологическая действительность, не совпадающая с человеческой. Чтобы включить обе реальности в единый научный нарратив, необходимо уравнивать их в методологическом отношении. Стирание грани между исследовательской позицией и онтологией мира придает акторно-сетевому подходу онтологическое звучание. «Латуровское распространение социологии на исследование ассоциаций, образующихся между разными типами сущностей, сближает его подход с другой дисциплиной, а именно онтологией; он становится исследованием бытия сущностей. Иными словами, социальное и бытие выражают одно и то же в социологии ассоциаций» [Schiølin 2012: 783]. Таким образом, язык ANT — это методологическая наработка, призванная отразить работу онтологически различных сущностей. Поэтому используемые в этой теории категории одновременно играют роль методологических схем и маркируют специфические онтологические регионы.

¹ Мы благодарны Юрию Рыкову за плодотворное обсуждение этих идей.

Библиография

- Вахштайн В.С.* На краю привычного мира: события и их фреймы // Социологическое обозрение. 2011б. Т. 10. № 3. С. 79–94.
- Вахштайн В.С.* Социология вещей и поворот к материальному в социальной теории // Социология вещей: Сборник статей / Под ред. В. Вахштайна. М.: Территория будущего, 2006. С. 7–39.
- Вахштайн В.С.* Социология повседневности и теория фреймов. СПб.: Изд-во Европейского ун-та в СПб., 2011а.
- Иванов Д.В.* Актуальная социология: веселая наука в поисках злых истин // Журнал социологии и социальной антропологии. 2010. Т. 13. № 2–3. С. 21–65.
- Латур Б.* Когда вещи дают отпор: возможный вклад «исследований науки» в общественные науки // Социология вещей: Сборник статей / Под ред. В. Вахштайна. М.: Территория будущего, 2006а. С. 342–362.
- Латур Б.* Наука в действии: следуя за учеными и инженерами внутри общества. СПб.: Изд-во Европейского ун-та в СПб., 2013.
- Латур Б.* Нового Времени не было. Эссе по симметричной антропологии. СПб.: Изд-во Европейского ун-та в СПб., 2006б.
- Латур Б.* Об интеробъективности // Социологическое обозрение. 2007. Т. 6. № 2. С. 79–96.
- Латур Б.* Пересборка социального: введение в акторно-сетевую теорию. М.: ВШЭ, 2014.
- Понов С.П.* Рецензия на книгу: Law J. After Method: Mess in Social Science Research. L.: Routledge, 2004 // Социология власти. 2014. № 1. С. 262–266.
- Callon M., Latour B.* Don't Throw the Baby out with the Bath School! A reply to Collins and Yearley // A. Pickering (ed.). Science as Practice and Culture. Chicago: University of Chicago Press, 1992. P. 343–358.
- Latour B.* Trains of Thought: Piaget, Formalism and the Fifth Dimension // Common Knowledge. 1997. No. 6/3. P. 170–191.
- Schiolin K.* Follow the Verbs! A Contribution to the Study of the Heidegger–Latour Connection // Social Studies of Science. 2012. Vol. 45. No 2. P. 775–786.

МАРИЯ КОНСТАНТИНОВА

**Призрак «техноцентризма»
в социологии вещей**

«Поворот к материальному» в социологической теории вот уже двадцать лет остается одной из самых обсуждаемых концептуальных инноваций. Напротив, «социология вещей», обязанная этому повороту самим фактом своего существования, кажется уже чем-то привычным и даже приевшимся; в бесконечной череде исследований «материальных аспектов» юридического процесса, «материальных условий» медицинской практики, «материальности» производства знания революционный запал ранних работ STS-направления был окончательно утрачен. В условиях такого кризиса жанра мы наблюдаем естественный отход от изначально манифестированных в «повороте к материальному» императивов [Latour 1988; Law 1986; Callon 1986]. Социология вещей окончательно избавляется от своего бунтарского имиджа.

Эта тенденция особенно хорошо заметна на примере отношения к работам Б. Латура, М. Каллона и Дж. Ло, трех отцов-основателей акторно-сетевой теории. Уже в 1999 г. они отреклись от своего детища и заявили о «завершении проекта АСТ» [Law, Hassard 1999]. (Впрочем, Латур потом передумал и даже написал учебник по акторно-сетевой теории [Латур 2014].) Последние несколько лет два главных российских пропагандиста АСТ — В. Вахштайн и О. Хархордин — резко снизили обороты своих публикаций о латурианской ревизии социологии. Если раньше один из них видел в акторно-сетевой теории ресурс развития собственной версии теории фреймов [Вахштайн 2007; 2008], а второй — теории практик [Волков, Хархордин 2008; Хархордин 2006], то сегодня оба, кажется, потеряли интерес к перепредделению социального, а если и высказываются об АСТ-проекте, то с насто-

женностью [Вахштайн 2012а]. Более того, в своей недавней публикации Виктор Вахштайн выразил желание спасти социологию вещей от акторно-сетевой теории [Вахштайн 2013а].

В чем же, собственно, он видит угрозу социологическим исследованиям материальности? В работах тех, кто стоял у истоков «материалистического поворота»? Потому что именно акторно-сетевая теория, инспирировав рождение социологии вещей, заразила ее опасной болезнью техноцентризма: «Технология казалась самым значимым объектом в конце XX в. — следствие не только бурного технологического развития, но и гонки вооружений, техногенных катастроф, миниатюризации изобретений etc. Чем сильнее технологии проникали в повседневную жизнь, тем очевиднее становился тезис об объектно-центричной социальности, но тем менее удовлетворителен техноцентризм в самой социологии вещей. Нам нужен иной теоретический язык для описания материального объекта в социальном мире; язык, который не переносил бы скрытым образом на все материальные объекты те свойства, которые изначально приписывались лабораторному оборудованию, оружию массового поражения, транспортным средствам и иным достижениям научно-технического прогресса» [Вахштайн 2013а: 36].

Получается, Бруно Латур, начавший с того, что обратил наше внимание на вездесущность материальных объектов, вдруг в одночасье превратился в Сатурна, пожирающего своих детей. Причем под «детьми» недвусмысленно подразумевается социология вещей, которая должна, наконец, выйти из-под влияния породившей ее социологии технологий и избавиться от Эдипова комплекса техноцентризма.

Далее я попытаюсь эксплицировать и подвергнуть критическому переосмыслению аргумент В. Вахштайна об опасности техноцентризма для социологии материальности. Мне кажется, довольно точно диагностировав суть проблемы, Вахштайн, отталкиваясь от верных предпосылок, приходит к неверным выводам.

По мнению Вахштайна, радикальная инновация акторно-сетевой теории состоит в переходе от метафорической концептуализации к метонимической: «Метафора — это мышление по формуле “X как Y”. Метонимия же предполагает именование части вместо именованного целого: “X вместо Y, при условии, что X — часть Y”. К примеру, когда представитель STS-направления в любом материальном объекте видит технический артефакт, он мыслит метонимически. (Потому что технические артефакты — тоже материальные объекты.) Когда социолог-конструктивист говорит: “материальный объект — это узел социальных отношений”, он мыслит метафорически (потому что

социальные узлы не принадлежат классу материальных объектов). Метонимия ближе к тавтологии, метафора — к парадоксу. Аэродром на заброшенном в океане острове — это метонимический аэродром для островитян (потому что для них он является воплощением всех аэродромов мира). Но построенный на том же острове карго-аэродром — это метафора настоящего аэродрома» [Вахштайн 2012б].

Традиционная социология не способна «увидеть» и «схватить» материальные объекты именно потому, что на этапе концептуализации выражает их *метафорически*, через что-то иное, через то, что само не является материальным. Это социологический эрзац материальности или, в терминах Вахштайна, карго-материальность. Чтобы стать релевантным для социологического изучения, автомобиль должен быть концептуализирован как «символ классового статуса», рама картины как «фреймирующее сообщение», дом аборигена — как «проекция его космогонических представлений» и т.д. При этом ни один материальный объект не сделан из сообщений, проекций и символов. Б. Латур ядовито высмеивает узость репертуара социологических метафор материальности: вещи могут предстать перед социологом исключительно в качестве инфраструктуры, инструмента или проекционного экрана. К примеру, окошко кассира «в качестве инструмента призвано предотвращать нападения клиентов на сотрудников и не имеет никакого дополнительного назначения; оно не оказывает определяющего влияния на взаимодействие, а только облегчает или затрудняет его. Как инфраструктура, окошко неразрывно связано со стенами, перегородками и компьютерами, образуя материальный мир, полностью формирующий остальные отношения точно так же, как вафельница формирует вафлю. Как проекционный экран, то же окошко кассира лишается стекла, древесины, отверстия и всего остального — оно становится знаком, отличным от этих прозрачных панелей, барьеров, остекленного выступа, перегородок, тем самым сигнализируя о различиях в статусе или свидетельствуя о модернизации общественной службы. Раб, господин или субстрат знака — в каждом случае сами объекты остаются невидимыми, в каждом случае они асоциальны, маргинальны и не способны участвовать в созидании общества» [Латур 2007: 85].

Вахштайн, отталкиваясь от этого латуровского пассажа, провозглашает новую эру в концептуализации материальности: «социология декодирует вещи, проблематизируя их социальные “означаемые” и одновременно делая непроблематичными их материальные “означающие”». “Поворот к материальному” предполагает отказ от подобной логики рассуждения: зримая и осязаемая вещь не должна в конечном итоге редуцироваться

к нематериальной “социальной вещи”» [Вахштайн 2006б: 9]. При этом автор, кажется, не замечает расставленной Латуром ловушки: термин «актант», заимствованный акторно-сетевыми теоретиками из семиотики А.-Ж. Греймаса [Греймас 2000], сам по себе *является метафорической концептуализацией материальности*. Это метафора «вещь как действующее лицо социальной драмы». Т.е. Латур вовсе не апологет перехода от метафорической концептуализации к метонимической (хотя многие представители АСТ-подхода действительно декларируют это в качестве своего достижения [Mol 2002]), он лишь старается расширить список работающих метафор. Достаточно посчитать количество метафор и аллегорий в его книге «Пересборка социального» [Латур 2014]: там счет идет не на десятки, а на сотни. И ни одной метонимии!

Однако Вахштайн буквально пытается сделать то, что Латур лишь обещает сделать (шаг от метафоры к метонимии), и, закономерным образом, сталкивается с «проблемой привилегированного объекта». Если мы строим свою концептуализацию на метонимических основаниях (Y как X, при условии что X — часть Y), какой именно объект (X) теперь будет мерой всех остальных вещей? Вахштайн обнаруживает, что в социологии вещей таким привилегированным «объектом X» стала техника: «Собственно, весь теоретический пафос объект-центричной социологии сводится к утверждению простой аксиомы: мы живем в мире материальных объектов. А следовательно, социальное можно помыслить только “вместе с вещами”. Бруно Латур и Мишель Каллон в свое время предложили тезис генерализованной симметрии — методологическое требование рассматривать субъект и объект, человека и вещь как равнозначных действующих лиц. В социологии вещей сегодня мы обнаруживаем старые нарративы — знакомые нам по фантастическим романам Айзека Азимова, Станислава Лема и Филиппа Дика — нарративы о возможности социальной жизни неодушевленных объектов. Само это направление вырастает из социологии технологий и попытки определить социальный статус техники (робота, компьютера, “умного жилища” и т.п.)» [Вахштайн 2013а: 34].

Далее Вахштайн сопоставляет два манифеста «поворота к материальному»:

Впервые (по крайней мере, в новейшей истории) возник вопрос о том, а действительно ли наибольший интерес для людей представляют другие люди. Как показывают многочисленные исследования, возникающие риски — неотъемлемая часть современных человеческих отношений — связаны с объектами в не меньшей мере, чем с самими людьми [Кнорр-Цетина, Брюггер 2006: 313].

После того как постструктурализм и конструктивизм расплылись в воздухе все, что казалось надежным и твердым, нам пора снова обратить внимание на неопосредованное присутствие объектов, с которыми мы живем, работаем и общаемся, которым доверяем, которые любим и ненавидим, которые связывают нас настолько же, насколько мы связываем их. Это подходящий момент — после панегирика текстуальности и дискурсивности — чтобы вновь обрести теоретическую чувствительность к жестким границам нашего социального мира, почувствовать силу объектов, дающих нам отпор в виде дорожных пробок, аварий, информационной перегрузки, загрязнения окружающей среды или новых технологий терроризма [Pels, Hetherington, Vandenberg 2002: 14].

Вахштайн обращает внимание на то, что в обоих этих манифестах именно сложные технологические объекты — носители новых рисков — выступают от лица всех материальных вещей. Это то, что он называет «Идолом технологии» (по аналогии с бэконовскими идолами, мешающими познающему субъекту адекватно видеть этот мир). «Технологии, — продолжает Вахштайн, — мыслятся в социологии вещей как своего рода “привилегированные вещи”. Даже те теоретики акторно-сетового подхода, которых не занимает вопрос рисков, склонны описывать мир социально релевантных объектов в техноцентричных категориях: еда превращается в “food technologies”, средства передвижения — в “technologies of long distance control”, руки жестикулирующего человека — в “communication technologies”, а протезы — в “cyborg technologies”. Понятие “techno-science” (изначально довольно жестко определенное) начинает экстраполироваться на науку в целом. Происхождение социологии вещей из духа STS наложило неизгладимый отпечаток на ее теоретическую оптику. Как следствие — сторонники объектно-центричного анализа распространили на все изучаемые объекты те свойства (например, способность поддерживать коммуникацию с человеком), которые ранее были жестко закреплены за сложными технологическими устройствами. В результате технологические объекты стали чем-то вроде метонимии всего материального мира в его отношении с миром социальным» [Вахштайн 2013а: 36].

Интенция автора ясна. Вахштайн отдает предпочтение метонимии перед метафорой, но его не устраивает, что такой метонимией становятся сложные технические объекты. А если не техника, то что? Ответ Вахштайна довольно туманен: экзистенциальные объекты, входящие в «ядро» конструкции социальной жизни. Например, тело, оружие, средства производства и игрушки. Достаточно странный набор метонимических объектов. Разве оружие, средства производства и современные

игрушки не являются сложными техническими устройствами? Вахштайн отвечает — нет (во всяком случае, мы не должны смотреть на них как на технику, а наоборот, должны смотреть на технику — и на другие вещи — как на игрушки, оружие и т.д.).

Обоснование экзистенциального статуса игрушек (которым, собственно, и посвящена анализируемая статья) выглядит в повествовании автора одновременно наивно и трогательно: «Игрушка тоже экзистенциальный объект *sui generis*. Это ваша первая собственность, первый объект, находящийся в вашей власти. Одежда ребенка ему не принадлежит. (Достаточно проанализировать реакцию родителей на малыша, перепачкавшего нарядный выходной костюм.) Даже его тело не принадлежит ему полностью, поскольку является предметом постоянных медицинских, гигиенических и педагогических интервенций (они же “технологии дисциплины”). Но за сломанную игрушку не наказывают. Более распространенная реакция: “Ну вот! У тебя была замечательная вещь! А теперь ее больше нет. Другую такую мы тебе уже не купим”. Благодаря взаимодействию с игрушками мы обнаруживаем перформативные свойства материального мира в своем повседневном опыте задолго до того, как получаем возможность говорить о них на языке научной теории» [Вахштайн 2013а: 36–37]. Однако оставим этот тезис на совести автора.

Попробуем теперь разобраться с техноцентризмом как новым Идолом Технологии в социологии вещей.

Во-первых, исследование технологий вовсе не было истоком АСТ. Ее истоком были исследования научной практики. Из трех прецедентных текстов, давших, по признанию Б. Латура [Латур 2014], начало акторно-сетевой теории, только один — статья Джона Ло о португальских галеонах [Law1986; Ло 2006] — был посвящен техническому объекту (и то в исторической ретроспективе). Два других (работа Латура о пастеризации [Latour 1988] и текст Каллона о морских гребешках [Callon 1986]) сфокусированы на материальности «живых вещей». Возможно, технология и «казалась самым значимым объектом в конце XX в.», но явно не создателям акторно-сетевой теории [Вахштайн 2006а].

Во-вторых, поворот к технологиям в социологии научного знания — тот самый поворот, который предшествовал бурному развитию социологии вещей, — произошел относительно поздно, уже в 1990-е гг., и стал причиной раскола в латурианском движении. Например, Стив Вулгар, первый соавтор Латура [Latour, Woolgar 1986], не принял латуровскую идею агентности не-человеков, оставшись в рамках куда более конвен-

циональной метафоры «технология как текст» [Woolgar 1991]. Более того, по мнению Вулгара, поворот к технологиям был инспирирован не содержательными, а исключительно политическими, конъюнктурными соображениями: «Что стоит за этим поворотом от науки к технологиям? Необходимо отметить важность таких факторов, как рост государственных расходов и увеличение числа грантов на исследование социального контекста технологий (например, недавняя инициатива РІСТ в Великобритании¹), эта ситуация отражает растущий спрос на “полезные” и “политически релевантные” исследования в социальных науках. Если социология научного знания (SSK) традиционно ассоциировала себя с чистой академической наукой, социальные исследования технологий (SST) во всеулышание заявляют о своей полезности» [Woolgar 1991: 21].

В-третьих, современные исследования технологий не представляют ровным счетом никакой опасности ни для «поворота к материальному», ни для социологии вещей, потому что не имеют к ним отношения. В подавляющем большинстве случаев это либо исследования социального конструирования технологий (SCOT) в духе Т. Пинча и В. Бийкера [Pinch, Bijker 1984], либо стандартная антропология техники как «технокультуры» [Vannini 2009]. В них нет никакого техноцентризма просто потому, что подобные исследования остаются в русле традиционной исследовательской программы и оперируют не метонимиями, а метафорами. («Технокультура» — как раз яркий пример эрзац-техники и карго-материальности, о которых мы говорили выше.) Так, в исследовании финского экономиста Мики Пантцара речь идет о «приручении технологий в повседневной жизни»: яркая концептуальная метафора «Техника как (домашнее) Животное» [Pantzar 1997]. Три наиболее известных статьи последнего времени по теме социальных исследований технологий, написанные отечественными авторами — А. Кузнецовым и Е. Шайтановой о маршрутных такси [Кузнецов, Шайтанова 2012], З. Котельниковой о противокражном оборудовании в магазинах [Котельникова 2011] и Н. Богатырь о системах восстановления данных [Богатырь 2012], — выполнены в рамках соответственно теории справедливости (Л. Болтански, Л. Тевено), экономической социологии и антропологии техники. В каждой из этих работ технологии выступают объектом исследования, но никак не метонимией материальности. Техника в них лишена свойств агентности и перформативности.

¹ РІСТ (Программа по информационным коммуникационным технологиям) — одна из первых государственных программ по развитию ИКТ, поддержанная британским Советом по экономическим и социальным исследованиям (1987).

Предположим, антропология техники и SCOT-исследования никогда не претендовали на свою причастность к социологии вещей (и всегда тщательно отделяли себя от «поворота к материальному»), однако и в классических работах по акторно-сетевой теории мы не найдем техноцентризма! Скажем, в последней книге Розы Брайдотти “Posthuman” человеческая природа диссоциируется в процессе описанного Латуром процесса делегирования агентности объектам. Но нет ни слова о технике как причине такой диссоциации или о теле как технологическом объекте [Braidotti 2013]. То же касается и новой классики акторно-сетевой теории — исследования «Множественное тело» Анн-Мари Мол. Технизация медицинской практики описана весьма детально, но не делается никакой попытки к «технологизации телесности» [Mol 2002]. В книге Виктора Бачли «Антропология архитектуры» архитектурные объекты действуют, но никоим образом не являются техническими [Buchli 2013]. Наконец, в недавней работе Ю. Чадаги «Объятия звезд: о телесных свойствах стекла в России» — работе, которая без труда проходит тест Латура на принадлежность к сонму акторно-сетевых исследований — сделан решающий шаг от метафорического к метонимическому способу мышления о материальности. Но метонимия, выбранная автором для понимания материальности стекла — не техника, а... игрушка: «Предметы из стекла как копии других вещей (самовара и т.д.) — это “предметы второго порядка”, в эту категорию Вахштайн включает игрушки вообще. С игрушками стеклянные “безделушки” объединяет их неподчиненность производственной необходимости, которая ставит утилитарное выше эстетического, и то, что они преодолевают свою неодушевленность умением петь — непосредственно связанным со свойствами материала, из которого они сделаны» [Чадага 2013: 124]. Не стоит ли теперь предостеречь социологов вещей от «игрушкоцентризма»?

Собственно, единственная опубликованная за последние несколько лет работа, где действительно прослеживаются все признаки метонимического техноцентризма в исследованиях материальности, — это работа самого Вахштайна о влиянии изобретения лифта на архитектурную логику Манхэттена. Разбирая манифест Рэма Кулхаса о небоскребах Нью-Йорка [Кулхас 2013], Вахштайн доказывает, что описанные Кулхасом архитектурные феномены (которые тот называет «решетка», «схизма» и «лоботомия») в действительности являются феноменами технического порядка. Опираясь на латуровскую теорию расщепления, он показывает, как технический объект (лифт) становится метонимией архитектурного объекта (небоскреба). После изобретения лифта строение больше не воспринимается как consistente и внутренне (логически, композиционно)

связное целое. Появляется новая логика здания: «логика, не имеющая достаточных оснований в чистом урбанистическом его. Это логика технологии» [Вахштайн 2013б: 172]. Как такой способ работы сочетается с декларируемым страхом техноцентризма?

В завершение я хотела бы подчеркнуть свой исходный тезис: техноцентризм (или, как предпочитает называть его Бруно Латур, «техноморфизм» [Латур 2014: 221]) — это не проблема, а решение, не болезнь, а лекарство. Мышление о материальных объектах по аналогии с техническими удерживает нас от возвращения к метафорическому способу анализа материальности (в котором технология подменяется «технокультурой», «текстом» или «релевантными группами», а материальные объекты — объектами социологии).

Метонимический техноцентризм, говорящий о любой вещи как о технологии, возвращает нас к нарушенным обещаниям акторно-сетевой теории — к попытке выйти из замкнутого круга метафорического мышления.

Библиография

- Богатырь Н. В.* Роль пользовательских сообществ в создании и распространении технологических инноваций // Этнографическое обозрение. 2012. № 3. С. 4–8.
- Вахштайн В. С.* Джон Ло: социология между семиотикой и топологией // Социологическое обозрение. 2006а. Т. 5. № 1. С. 24–29.
- Вахштайн В. С.* Интервью о книге «Теория фреймов и социология повседневности». 2012б. <<http://postnauka.ru/books/3320>>.
- Вахштайн В. С.* К микросоциологии игрушек: сценарий, афорданс, транспозиция // Логос. 2013а. № 2 (92). С. 3–37.
- Вахштайн В. С.* «Практика» vs. «фрейм»: альтернативные проекты исследования повседневного мира // Социологическое обозрение. 2008. Т. 7. № 1. С. 65–95.
- Вахштайн В. С.* Пять книг о посткритической социологии // Социология власти. 2012а. № 6–7. С. 275–281.
- Вахштайн В. С.* Рец. на книгу: Колхас Р. Нью-Йорк вне себя // Социология власти. 2013б. № 3. С. 163–179.
- Вахштайн В. С.* Социология вещей и «поворот к материальному» в социальной теории // Социология вещей / Под ред. В. Вахштайна. М.: Территория будущего, 2006б. С. 7–39.
- Вахштайн В. С.* Теория фреймов как инструмент социологического анализа повседневного мира. Автореф. дис. ... канд. соц. наук. М., 2007.
- Волков В. В., Хархордин О. В.* Теория практик. СПб.: ЕУСПб, 2008.
- Греймас А.-Ж.* Размышления об актантных моделях // Французская семиотика: От структурализма к постструктурализму. М.: ИГ Прогресс, 2000. С. 319–357.

- Кнорр-Цетина К., Брюггер У.* Рынок как объект привязанности: исследование постсоциальных отношений на финансовых рынках // Социология вещей / Под ред. В. Вахштайна. М.: Территория будущего, 2006. С. 307–341.
- Колхас Р.* Нью-Йорк вне себя [ретроактивный манифест Манхэттена] / Пер. с англ. А. Смирновой. М.: Strelka Press, 2013.
- Котельникова З.В.* Как вещи вторгаются в отношения (на примере противокражного оборудования в магазинах) // Журнал социологии и социальной антропологии. 2011. № 14 (4). С. 22–41.
- Кузнецов А., Шайтанова Л.* Маршрутное такси на перекрестке режимов справедливости // Социология власти. 2012. № 6–7 (1). С. 137–149.
- Латур Б.* Об интеробъективности / Пер. с англ. А. Смирнова, под ред. В. Вахштайна // Социологическое обозрение. 2007. Т. 6. № 2. С. 79–98.
- Латур Б.* Пересборка социального. Введение в акторно-сетевую теорию. М.: ГУ ВШЭ, 2014.
- Ло Дж.* Объекты и пространства / Пер. с англ. В. Вахштайна // Социологическое обозрение. 2006. № 1. С. 30–42.
- Хархордин О.* Предисловие научного редактора // Латур Б. Нового Времени не было. Эссе по симметричной антропологии. СПб.: ЕУСПб, 2006. С. 3–41.
- Чадага Ю.* Объятия звезд: о телесных свойствах стекла в России / Пер. с англ. О. Михайловой // Новое литературное обозрение. 2013. № 120 (2). С. 54–74.
- Braidotti R.* The Posthuman. Cambridge: Polity Press, 2013.
- Buchli V.* Anthropology of Architecture. L.: Berg Publishers, 2013.
- Callon M.* Some Elements of Sociology of Translation Domestication of the Scallops and Fishermen of St Brieux Bay // J. Law (ed.). Power, Action and Belief: A New Sociology of Knowledge? L.: Routledge and Kegan Pol, 1986. P. 113–155.
- Latour B.* The Pasteurization of France. Cambridge: Harvard University Press, 1988.
- Latour B., Woolgar S.* Laboratory Life: The Construction of Scientific Facts. Princeton: Princeton University Press, 1986.
- Law J.* On the Methods of Long Distance Control: Vessels, Navigation and the Portuguese Route to India // Power, Action and Belief: A New Sociology of Knowledge? L.: Routledge and Kegan Paul, 1986. P. 12–32.
- Law J., Hassard J.* Actor-Network Theory and After. Oxford; Keele: Blackwell and the Sociological Review, 1999.
- Mol A.* The Body Multiple. Ontology in Medical Practice. Durham: Duke University Press, 2002.
- Pantzar M.* Domestication of Everyday Life Technology: Dynamic Views on the Social Histories of Artifacts // Design Issues. 1997. Vol. 13. No. 3. P. 23–38.

- Pels D., Hetherington K., Vandenberg F.* The Status of the Object: Performances, Mediations and Techniques // *Theory, Culture and Society*. 2002. Vol. 19. No. 5/6. P. 1–23.
- Pinch T.J., Bijker W.E.* The Social Construction of Facts and Artefacts: or How the Sociology of Science and the Sociology of Technology Might Benefit Each Other // *Social Studies of Science*. 1984. Vol. 14. No. 2. P. 23–48.
- Vannini P.* (ed.). *Material Culture and Technology in Everyday Life: Ethnographic Approaches*. N.Y.: Peter Lang Publishing Group, 2009.
- Woolgar S. The Turn to Technology in Social Studies of Science // *Science, Technology and Human Values*. 1991. Vol. 16. No. 1. P. 20–49.

СЕРГЕЙ СОКОЛОВСКИЙ

О новой материальности и тихих революциях

Политика проведения дисциплинарных границ в российской антропологии содержит любопытный парадокс: высокая неопределенность предмета дисциплины сочетается с весьма жесткой политикой размежевания с «соседями» на основе негласных и слабо артикулированных признаков «своего» и «чужого». Кухню изучать можно, но не ресторанный. Жилище тоже, но не «высокую архитектуру». Одежду? — Пожалуйста, но не современный костюм. Все предметы массового производства выпадают из поля зрения, так что современный городской житель в глазах нашего этнографа сир, наг, бос и бесприютен, поскольку живет вне «традиции», и замечается лишь там и тогда, где и когда хоть плохонько в эту самую «традицию» вписан. Что же удивительного в том, что некоторые переводы работ наших зарубежных коллег не опознаются как этнография и, стало быть, выпадают из области профессиональных интересов: «Это, видимо, какой-то философ написал». «Вообще-то я психологов читать не люблю». «Не хватало нам еще социологии — тут по своей-то теме всего не перечитаешь!» «Книжек сейчас издают много —

Сергей Валерьевич Соколовский

Институт этнологии
и антропологии РАН,
Москва
sokolovskiserg@gmail.com

всего не прочтешь, дай бог по своей теме успеть». А на реплику, что, мол, да наш брат это написал — антрополог, получаешь ответ, что они там совсем заблудились, их антропология — это про все что угодно. Своя российская крошка из шей, лаптей и традиционного вождества нам не претит, а включение в кругозор «нетрадиционной» повседневности принимается с большим сопротивлением. Инерция понятная: если всю жизнь читаешь и накапливаешь знания в одной узкой области, приглашение открыть глаза на мир и кардинальные в нем перемены принимается безо всякого энтузиазма и рассматривается как вредная ересь или чужестранная мода, не имеющие отношения к «фундаментальной науке».

Взгляд такого профессионала на «закордонное» знание специфически избирателен: он видит только себе подобное, тексты про те же самые вождество, лапти и щи (но не про всякие, а лишь те, за которыми стоит авторитет местной традиции или этнической группы, т.е. исключительно про те, которые и положено хлебать лаптем). То, что этот взгляд существенно *архаизирует* ландшафт антропологического знания, такого профессионала не волнует: он добросовестно следит за «новинками» и, так сказать, «копает вглубь», отрывая этот самый фундамент, всякое знание о котором по определению оказывается «фундаментальным». Мудрено ли, что эта слепота профессионально тренированного и поставленного взгляда («лишь дилетанты всеядны!») не только позволяет не замечать нового и важного за пределами его узкого фокуса, но и диктует игнорирование не вписывающихся в местный контекст объектов, тем и методов. Такая позиция, впрочем, обусловлена не столько уверенностью в своей правоте, сколько слабостью и сомнениями в собственных силах. Эта слабость и определяет режим чтения, а точнее, параметры читаемости посланий наших коллег из других дисциплин или зарубежных коллег из (по меньшей мере по названию) той же. В итоге — эпистемическое насилие, при котором даже вовсе не прочитанное отторгается как чужое и чуждое. Видимо, именно так революции и проходят незамеченными.

Отсутствующих областей и проблем, которыми «там» антропологи занимаются, а «здесь» даже и не помышляют, наверное, больше, чем узаконенных и традиционных: у нас практически нет антропологии организаций, медиа, спорта, бизнеса; пока в зачаточном состоянии и плохо поспевают за событиями в соответствующих областях медицинская и юридическая антропология (вопреки солидному возрасту последней), а также антропология образования и искусства. Примерно то же можно сказать и, как ни странно, о здешней политической антропологии, пока не способной компенсировать свой родовой вывих

и помешательство на всем этническом и наладить не кабинетные, а полевые исследования функционирования различных видов власти.

Выше были перечислены области исследований или даже дисциплины со своими кафедрами, профессиональными ассоциациями, университетскими курсами и журналами¹. Но из здешнего взгляда выпадают также целые группы или слои населения. Гендерные исследования почему-то должны осуществляться с оглядкой на этнический аспект, и почему-то чаще всего в них речь должна вестись о женщинах (исключения столь редки, что у всех на слуху), как будто у мужчин нет ни гендера, ни пола. Есть и трудно объяснимые предпочтения в исследованиях возрастных групп: знания мы изучаем, опрашивая старшее поколение, а поведение — молодежь. Когорта среднего возраста при этом из поля зрения практически выпадает, вместе со всем ее поведением и знаниями. Почти то же самое можно сказать и о социальных слоях, но здесь уже выпадают элита (за исключением так называемой «национальной») и средний класс, а все внимание сосредоточивается на демографически стремительно сокращающемся крестьянстве и, если говорить в прежних категориях, еще и мещанстве (в российской городской антропологии социальное положение опрашиваемых редко специфицируется). Прежде обращали внимание еще и на рабочих, но сегодня они практически исчезли из сферы интересов российского антрополога.

По тем же причинам (сосредоточенность на традиции и этничности) антропологически неизученными остаются представители подавляющего большинства массовых профессий, и если бы не работы П.В. Романова и Е.Р. Ярославской-Смирновой и их учеников в Саратове и Москве и Т.Б. Щепанской в Петербурге, то нам бы сегодня практически не о чем в этом отношении было говорить. Таким образом, как мне представляется, главной и основной причиной вялого реагирования отечественных антропологов на концептуальные революции у наших коллег являются очевидно устаревшие представления о предмете дисциплины в целом. Явный этнологический крен не позволяет адекватно оценивать происходящее в социальной и культурной антропологии, требующее более широкой эрудиции и осведомленности о концептуальных сдвигах не только в рамках собственной дисциплины, как бы ни определять ее границы, но и в политических науках, социологии, а также социальной

¹ Такими, например, как: "International Journal of Business Anthropology", "Journal of Business Anthropology", "Journal of Organizational Ethnography", "Japan Journal of Sport Anthropology", "Journal of Sport & Social Issues", "MedieKultur: Journal of Media and Communication Research", "Anthropology & Education Quarterly", "Music and Anthropology" и др.

философии и философской антропологии, когнитивных науках и т.д.

С материальной культурой все одновременно проще и сложнее. Если отечественная этнографическая фольклористика была более или менее открыта новациям за счет ее тесных связей с семиотикой, социолингвистикой, литкритом и теорией литературы, то исследования материальной культуры как культуры прежде всего этнической оказались в российском случае сферой наиболее консервативной, сохранившей и законсервировавшей подходы 1950–1960-х гг. В силу такого положения вещей уместно говорить как минимум о двух традициях в рамках этих исследований: *фольклорно-семиотической* с ее базовой метафорой культуры как текста и выводимой из нее концепцией вещи как символа или знака и той, которую за неимением более точного наименования я рискну назвать *историко-географической*, где вещная среда представляется прежде всего результатом исторических взаимодействий человеческих коллективов и их приспособления к среде природной. И хотя именно их синтез доказал свою большую по сравнению со структурно-семиотическим подходом эвристичность, что произошло во многом благодаря детальнейшему анализу функционирования вещей в качестве адаптирующих и «протезирующих» инструментов, весьма успешно опосредующих взаимодействия человека со средой, эта траектория развития идей реализовывалась в последнюю четверть века фактически без участия российских антропологов.

Виновниками такого положения вещей можно считать, с одной стороны, до сих пор не вполне изжитую и догматически трактуемую марксистскую идеологию, обусловившую жесткое разделение культуры на духовную и материальную (и тем самым не только нивелировавшую богатые и многокачественные связи между ними, но и легитимировавшую, а затем сделавшую практически невидимой искусственность этого разделения), а с другой — наложившийся на эту философскую наивность институциональный кризис науки начала 1990-х гг. Археология, сама находившаяся под прессом все не упоминаемой в ней концепции базиса и надстройки, не могла стать источником новых идей в области исследований материальности вплоть до конца 1990-х гг., когда наконец усвоенные (главным образом, из междисциплинарных *material studies*) западными археологами концепции новой материальности стали постепенно проникать и к российским археологам и уже затем попадать этим окольным путем в поле зрения российских этнологов / антропологов (в основном, музейщиков), занимающихся исследованиями материальной культуры.

С моей точки зрения, антропология способна оставаться собой, а не мутировать в исследования культуры, общества, знака, текста, действия, традиции или чего-либо еще, только при условии регулярного возвращения к своей центральной категории — человеку. «Забывая» о необходимости такого регулярного и рекурсивного возвращения в целях обновленного синтеза знаний о человеке, антропологи не только вступают в конкурентные отношения с политологами, экономистами, психологами, историками, культурологами, литературоведами и представителями еще десятка дисциплин, но и делают уязвимой саму *raison d'être* дисциплины и постоянно, как футболисты на чужом поле, играют слабее, нежели могли бы (теоретически менее убедительно, чем «хозяева поля»). Начавшаяся далеко не сегодня и все углубляющаяся специализация и фрагментация антропологического знания с ее новой картой размежеваний и все более узкими концепциями, неизбежным следствием (если не параллельно развивающимся процессом) имеет утрату интереса к «чужому знанию». В суженной познавательной перспективе с ее специализированными понятиями, претендующими на статус центральных, становится труднее оценить релевантность знания, полученного даже в сопредельных дисциплинах, не говоря уже о «соседях соседей». Таким образом, охрана границ собственных крохотных королевств и разметка знания на свое и чужое приводят к неосведомленности относительно занятий соседей, если не к открытому обскурантизму.

Однако одними функциями патрулирования границ вряд ли можно объяснить специфическую ситуацию утраты интереса к «чужому знанию»: междисциплинарные границы охранялись всегда, а «пропущенные революции» (в особенности упомянутая организаторами дискуссии революция в исследованиях материальности) случились недавно. На мой взгляд, решающими здесь стали факторы, которые можно отнести к социальным или социально-психологическим. Среди социальных важнейшим оказывается кризис системы образования в России (как и во многих странах СНГ), вызванный сначала отсутствием адекватного финансирования системы образования в течение первых 10–15 постперестроечных лет, а затем его длительными следствиями, обусловленными уже потерянными выпусками нормально подготовленных преподавателей и новых поколений грамотных учебных курсов. Пострадала и сфера пропаганды научного знания¹. Изменениям, разумеется, содействовало

¹ Стоит только вспомнить о прежних тиражах научно-популярных журналов и их ценовой доступности. По собственному детству помню, что выписывалось два-три десятка «толстых» и «тонких» журналов и не меньшее количество газет на вкус каждого из членов семьи. У меня были «Юный

телевидение, а впоследствии и интернет, изменившие манеру общения с книгой или журналом и даже саму способность к вниманию и сосредоточенности.

Оба наших подхода к исследованию материальности (и фольклорно-семиотический, превращавший материальность в семиосферу, и историко-географический, трансформировавший вещную среду во вторую природу и разворачивавший исследования материальности в сторону экологии и эволюционных сюжетов) уводили эти исследования дальше от человека, оставляя на потом задачу возвращения к человеческой повседневности и синтеза знаний вокруг центрального для нее понятия — «человек» (а не «культура», «общество» или «природа»). Поворот к исследованиям материальности, совершившийся при участии антропологов в так называемых *material studies* и исследованиях науки и технологий, оказался в этом отношении весьма своевременным. Но что же такого замечательного в этой старой, но по-новому увиденной материальности? Стоит ли вообще тратить силы на знакомство с акторно-сетевой теорией? Что действительно нового она дает для концептуализации взаимодействий между вещами и человеком?

Давайте для наглядности возьмем простой пример, позволяющий обнаружить различия между традиционными подходами к изучению материальной культуры и теми сложно устроенными онтологиями, которые должен учитывать последователь «социологии ассоциаций» (термин Латура).

Мальчишка разбил мячом окно. Сам он винит помешавшего ему точно ударить соперника и мяч. Он окна не разбивал: его разбил мяч или слегка изменивший траекторию полета этого мяча игрок другой команды. И вообще все произошло из-за погоды: накануне прошел дождь, и поле оказалось скользким. Или, быть может, это стекло в окне оказалось слишком хрупким, оттого что стекольщик сэкономил и вставил в раму вместо 2-миллиметрового — 1,5-миллиметровое. А скорее всего, оно было с самого начала бракованным и потому не вынесло вообще-то довольно слабого удара: стекольный мастер не соблюдал температурного режима или в материалах оказались лишние примеси. Нет, виноват архитектор: это он спланировал футбольную площадку рядом с жилым домом. На самом деле виноваты строители площадки: это они не огородили поле достаточно высокой сеткой. Виноват учитель физкультуры: он

натуралист», «Вокруг света», «Наука и жизнь», «Квант», «Техника — молодежи», а чуть позже — «Природа», «Этнографическое обозрение», «Вестник древней истории», «Вопросы философии» и масса журнальных приложений типа «Искателя»; о толстых литературных журналах я уже не говорю. Сегодня редко кто может себе такое позволить, да и научно-популярные журналы стали скромнее и тоньше, а часть их страниц заняла реклама.

не обучил на своих уроках обрабатывать мяч и точно направлять удар. Виноваты родители: это они так воспитали своего сына.

Каждое из этих объяснений (а при желании можно легко привести еще десяток: архитектора плохо готовили — виновата профессура; профессура не виновата — это правительство убило реформами систему образования и т.д. и т.п.) не исключает других, но выстраивает уникальную цепочку каузальных связей и, стало быть, предлагает свою онтологию события. Выбрать «единственно верную» версию не удастся, и традиционный взгляд на вещи (онтология должна быть одна, и каузация события тоже) вряд ли здесь помогает. «Начальство» (учителя, родители, дворник, владелец разбитого окна) предлагает единственный практический выбор и план действий: не углубляясь в дебри и не исследуя прочность стекла, планировку двора, степень злонамеренности соперника, добросовестность стекольщика и строителей — наказывает мальчишку. И только серия аналогичных событий может заставить взрослых изменить их действия: перенести площадку, или обнести поле высокой сеткой, или зарешетить уязвимые окна, или вставить ударопрочные стекла, или организовать профессиональное обучение футболу, что и демонстрирует возможность и эффективность следования иным онтологиям.

Признание *множественности онтологий* — лишь один из аспектов нового подхода, однако он оказывается кардинальным в отношении интеллектуального климата и истории идей, а точнее их рецепции в случае российской науки в целом. Убежденность в существовании «единственно верного учения» и сегодня определяет этот климат и не позволяет довериться или вполне открыться тем структурам собственного опыта, которые просто не улавливаются теорией действия, постулирующей единственную онтологию. Именно это эпистемологическое кредо воспроизводит догматику здешнего социального сознания и придает ему неповторимый привкус, если воспользоваться выражением булгаковского героя, «второй свежести». Печальная ирония состоит в том, что политика размежевания и охраны междисциплинарных границ, о которой шла речь выше, делит на своих и чужих не только авторов, но и идеи, и мы, например, перестаем узнавать некоторые находки Проппа, вернувшиеся нам через посредничество Греймаса и Латура, и считаем выстроенную на их основе концепцию актантов мало пригодной для анализа «материального базиса».

Вторым аспектом такого подхода к исследованию материальности является отслеживание действия или, если так можно выразиться, «маршрута активности». В традиционных исследе-

дованиях материальной культуры вещи пассивны, в то время как уже у В. Проппа они могут выполнять функции, плохо совместимые с идеями пассивности и самождественности. Сложная система сфер действия в анализе сказки у Проппа обобщается в нарратологическом анализе А. Греймаса до трех пар актантов, а у Б. Латура, воспринявшего их идеи и приложившего их к собственной концепции действия, они фактически сводятся к оппозиции между проводником (*intermediary*) и посредником (*mediator*), способными захватывать действие на разных этапах его развертывания. Основное сходство между всеми тремя концепциями заключается в том, что персонажи у Проппа или актанты у Греймаса и Латура — это прежде всего паттерны поведения или роли, которые у конкретных акторов могут меняться. Мне нет надобности подробно представлять здесь эти концептуализации, поскольку работы, в которых они излагаются [Греймас 2004; Латур 2014], вполне доступны и любой заинтересованный читатель может сам к ним обратиться и оценить их эвристичность применительно к исследованиям материальности.

Вернемся к примеру с разбитым окном. Действующих сил в этом рядовом происшествии — с избытком. Помимо человеческих агентов или акторов (мальчишки, соперника из команды противников, хозяина окна, родителей, архитектора, строителей и проч.), есть акторы нечеловеческие, но вносящие свой вклад в исход (мяч, поле, погода, стекло). Все они могут оказаться всего лишь проводниками, передающими импульсы действия без искажения, но могут являться и посредниками, и тогда в нашем расследовании решающим фактором может оказаться, например, мяч: он не был даже дальним родственником мячам ручной работы с покрышками из ламинированного полиуретана и добавлением резиновой крошки с четырьмя подкладочными слоями из смеси хлопка с полиэстером и с латексными камерами с бутиловым ниппелем, из любовно сшитых ремесленниками пакистанского Сиялкота 12 пяти- и 20 шестигульников, а был обычным кожаным мячиком-дворняжкой от неизвестных родителей, облупленным и намокшим, плохо центрированным от рождения, не соответствующим ни одному из принятых стандартов и параметров, который при любой подкрутке норовил лететь по затейливой кривой, подчиняясь не им введенным законам вращения тел с эксцентрической осью.

Мы не можем вменять вещам умысел, интенциональность или разум, но ничего из перечисленного и не требуется для захватывания действия и изменения его непредсказуемым образом. Дворовой мяч, когда импульс действия перешел к нему, просто заблудился и вместо ворот противника влетел в окно. Погода поспешествовала: был бы мяч из полиуретана, он бы не так

намок, но кожаному выбору не оставалось; был бы на поле искусственный газон, не было бы так скользко и нога игрока не закрутила бы мяч. Что до стекла, о его предательской хрупкости речь уже шла. В конце концов, окно вставят, убытки покроют, мальчишка забудет и страх, и обиду. Спонтанно возникший трибунал по поводу разбитого стекла, если не сделает правильных выводов сразу, сделает их впоследствии, наступив на грабли несколько раз. Родители познакомятся с соседями, учителя со строителями.

Контраст с традиционной этнографией материального здесь, кажется, очевидный. События из разряда описанных в ее поле зрения просто не попадают, а случайно в него попадая, служат лишь поводами для рассмотрения слабо связанных с ситуацией сюжетов: исследования символики мяча в данной культуре, анализа эволюционной роли игры, а за рамками исследований материальной культуры еще и, например, процедур разрешения конфликта и примирения.

Для нас здесь важны акценты и различия между традиционной и новой материальностью, которые даже при таком простом, хотя и развернутом примере неочевидны. Вещь не сохраняется сама по себе — нужна работа по ее сохранению (мяч нужно сушить и накачивать, стекло вставлять, поле — ровнять, чистить и огораживать); вещь проявляет себя в действии и может выступать в роли проводника или посредника. Идеальный мяч оказался бы проводником, не способным что-либо изменить и внести свою лепту в происходящее. Мяч несовершенный на это способен и потому должен в этой истории рассматриваться как посредник.

Жизнь вещи не изобразима вне активности других, окружающих ее и вступающих с ней в отношения каузации вещей и людей. Ее функции как актанта могут изменяться в рамках одной сети или группы, в которую вовлечены и люди и вещи. Онтологий и каузальных цепочек может быть множество, и наши отчеты должны их учитывать. Динамичность, трансформации, активность, включенность в человеко-вещные ассоциации — это характеристики, которые отделяют «традиционную материальность» от «новой». Однако, помимо этого, также очевидно, что между исследованиями материальной культуры в традиционной этнографии и проблематикой исследований новой материальности стоят более существенные философские и идеологические отличия, часть из которых была отмечена выше. Жанр реплики в форуме не позволяет развернуто охарактеризовать эти отличия тут же, однако их можно проиллюстрировать еще на паре более приближенных к обстоятельствам здешней жизни примеров.

Не нужно ломиться в открытые двери, доказывая, что вещи входят в самую плоть тех отношений, которые мы именуем социальными, и конфигурируют те процессы, которые мы стандартно связываем с социальной идентификацией и политикой идентичности. Этот тезис, впрочем, полностью разделяется и поддерживается представителями классического или традиционного подхода к материальности, поскольку сводится, по существу, к отражательной и воспроизводящей функциям вещей как проводников, не изменяющих самого действия или передаваемой информации. Латур пишет об этом так (и это хорошая иллюстрация к различию подходов между традиционной этнографией одежды и исследованиями материальности в АСТ):

Если, к примеру, социальная дифференциация «выражена» в какой-то детали моды или «проецируется на» нее, но сама эта деталь — скажем, сияние шелка вместо нейлона, — интерпретируется как проводник, достоверно передающий определенное социальное значение «шелк — для высших», «нейлон — для низших», — то тогда незачем апеллировать к этой детали изготовления. Она используется чисто в иллюстративных целях. Социальная дифференциация между высшими и низшими будет существовать в любом случае и независимо от химических различий между шелком и нейлоном; она всего лишь «представлена» и «отражена» в детали одежды, остающейся совершенно безразличной к ее структуре. Если же, наоборот, различия в химическом составе и технологии производства рассматриваются как длинный ряд посредников, может оказаться, что без множества трудноуловимых материальных нюансов — различий в восприятии на ощупь, прикосновении, цветовом оттенке, блеске шелка и нейлона — эта социальная дифференциация могла бы вообще не существовать [Латур 2014: 60].

Между тем вещи способны внедряться в наши тела, а при проблематизации границ тела и в зависимости от контекста (фантомные боли, сновидящее тело, повседневные трансформации телесных границ в наших ощущениях под влиянием «внешних» обстоятельств и т.д.) оппозиция «тело — вещь» вообще может терять актуальность. Восполняя многие «нехватки» человеческого тела, создавая комфорт и безопасность, вещная среда в ходе коэволюции техники и человеческой телесности сливается с человеком настолько, что вещи не только становятся полноценными участниками межчеловеческих отношений, не говоря уже об отношениях человека с миром, но и стирают границы между внешним и внутренним, так что единицами взаимодействия оказываются скорее уже артифицированные социотехнические системы, которые мы по привычке продолжаем называть людьми, затушевывая те фундаментальные

трансформации, которым подвергся за тысячелетия своей орудийной деятельности *Homo sapiens*.

Полюбившимся мне примером в отношении слияния тела и вещи является пространственно громоздкая система «человек-на-эскалаторе». Полиция крупных российских городов идентифицирует приезжих не столько, как считается, на основе расового профилирования, опознавая так называемые видимые меньшинства по особенностям их внешнего облика, сколько по их поведению, например, на эскалаторе или на платформе метро. У жителей мегаполисов эскалатор, как и стандартной маршрут перемещения с работы домой, встроены в телесные диспозиции и память: они теряют равновесие, вступая на стоящий эскалатор, и уверенно держатся на движущемся, в то время как приезжие — наоборот; местным не нужно задирать головы и рассматривать указатели, как это делают приезжие, и они уверенно садятся в тот вагон, который остановится рядом с их выходом или у самого перехода на другую линию.

Однако вещи внедряются в наши тела не только за счет формирования диспозиций, телесной памяти или протезирования «отстающих физических качеств». Мы, например, строим мебель, но и мебель строит нас. Мы моделируем одежду и обувь, а те, в свою очередь, изменяют наши тела. Я не стану приводить очевидных примеров с ногами китаянок или балерин. Ступня любого носителя обуви существенно меняет свою анатомию под влиянием обувной колодки. Стулья не только являются своего рода слепок наших тел, они буквально повторяют их в своем устройстве и сочленении частей: как у нас есть ноги, спины и сидалища, у них имеются ножки, спинки и сиденья. Стул, таким образом, оказывается внешним позвоночником, дублирующим наш собственный; он выполняет функцию экзоскелета, разгружая устающие от прямохождения позвоночники. Это активное и трансформирующее влияние вещного мира на тело человека и его поведение традиционно ускользало из перечня исследуемых проблем под рубрикой «материальная культура». Технологии дополняемой реальности (*augmented reality*), виртуализации вещной среды, вживления чипов, спутникового управления движением социотехнических систем типа «человек — автомобиль (морское судно, космический корабль, самолет и т.д.)» стремительно приближают описанные Ст. Лемом в его «Футурологическом конгрессе» сценарии «устранения реальности» в отношениях релятивизации границ человека и машины, человека и мира, разума и реальности.

Современная антропология должна поспевать за современным миром, если не опережать его. Для российских антропологов

главным практическим шагом в этом направлении может явиться отказ от селективного восприятия реальности и бесконечной ее сортировки на традицию (народную культуру) и новацию (массовую или высокую культуру). Политика такого размежевания сомнительна, поскольку, как известно, традиции изобретаются, а традиционная материальная культура сегодня производится не там, где думает этнограф-традиционалист (шотландские волынки, например, делают, главным образом, те же ремесленники в Пакистане, а вовсе не хайлендеры где-нибудь в Грампианских горах или деревушках Северо-Шотландского нагорья). Человек не укоренен исключительно в прошлом (традиции); он живет также настоящим и будущим, и антропологический взгляд не будет лишним для любых областей человеческой деятельности, поскольку там, где есть человек, есть место и антропологу.

Библиография

Греймас А. Структурная семантика. Поиск метода / Пер. Л. Зиминой. М.: Академический проект, 2004.

Латур Б. Пересборка социального. Введение в акторно-сетевую теорию / Пер. И. Полонской. М.: ВШЭ, 2014.

ТАТЬЯНА УВАРОВА

Общественный контекст антропологического теоретизирования

В настоящее время российская этнология не очень торопится с обновлением теоретического, да и методического арсенала исследований материальной культуры. С данным мнением инициаторов обсуждения нельзя не согласиться. Эта ситуация не связана с историографическими пробелами в знакомстве с зарубежными исследованиями — специалисты их хорошо знают.

Речь, на мой взгляд, идет скорее об очень сильной инерции того, что называют парадигмой в куновском смысле — общепринятого способа постановки и решения той или иной проблемы большинством научного сообщества, а оно в своей массе этот подход

Татьяна Борисовна Уварова
Институт научной информации
по общественным наукам РАН,
Москва
ethn.uvarova.tb@inbox.ru

пока не настроено менять. Во многом это обусловлено состоянием реалий и идей (в широком смысле: принятых стандартов, стремлений, идеалов) российского общества в целом.

В научном мейнстриме, как свидетельствуют предметные указатели и рубрикаторы библиографических и справочно-информационных изданий, включая серии энциклопедий (например, по русской культуре, изданные в 2000-е гг. в Санкт-Петербурге), основополагающим понятием продолжает оставаться «материальная культура» с лежащей в ее основе этнографической или, как принято в отечественной историографии, «анучинской триадой». Именованное указывает и на авторство, и почти на полуторавековой возраст методического инструмента, позволившего систематизировать огромный пласт очевидных не только для ученых, но и для обывательского взгляда различий таких простых и универсальных для всего мира вещей, как жилище, одежда, пища.

Расцвет хронологической и территориальной систематизации вещественного разнообразия в мировом этнолого-антропологическом знании пришелся на послевоенные десятилетия. К концу классического периода развития дисциплины — 1960–1980-е гг. — как определяет его авторитетный историограф англоязычной науки Дж. Стокинг, были подведены итоги «больших проектов» по каталогизации этнокультурного разнообразия мира и в российской этнологии, и в зарубежных научных школах. Их результатом стало создание объемных атласов, серий многотомных публикаций, банков и баз данных в традиционных печатных и электронных версиях, дающих основания для развернутых компаративистских исследований.

На этом, как казалось, данное исследовательское направление исчерпало себя. Работа такого рода стала восприниматься как сугубо механическая, не творческая. Высказывались даже сожаления, что на нее были затрачены столь значительные научные силы. Тем более что этнические явления, представлявшие первостепенный интерес для советской этнографии, «ушли» в сферу нематериального.

Новая ситуация в мире и в постсоветской России перевернула страницу мирового атласа прежнего исторического этнокультурного разнообразия. В условиях жестко унифицирующей все сферы жизни глобализации интерес к «этно» вернулся, но уже не как к реальной целостной традиции, а как к набору стилизованных элементов по индивидуальному или групповому выбору, чаще всего все из той же этнографической триады — в виде моды, интерьера или кухни в том или ином этническом стиле.

Для новой ситуации оказались нужны новые инструменты — методы фиксации гораздо более фрагментарных и динамичных социокультурных процессов. Современное техническое оборудование, казалось бы, может легко не только сканировать все их многообразие, но и обеспечить систематический мониторинг изменений. Однако анализ огромных объемов виртуальных версий реальности требует новых методологических и теоретических подходов.

Один из них — получившее мощный технологический импульс этнографическое кино или шире — визуальная антропология, заявившая о себе как особой субдисциплине с собственной методологией. Помимо простой беспристрастной фиксации картин жизни и быта со всем его вещественным наполнением создатель фильма, показывая не доступные прежде для наблюдения феномены, претендует на роль соавтора новой реальности. Однако и в этом случае бытие вещей, выходящее за рамки прямой визуальности, чаще всего остается скрытым. Всесторонний источниковедческий анализ как один из классических методов российской этнологии сохраняет свое значение для обработки стремительно растущего корпуса визуальных материалов, включая и сетевые ресурсы.

Одним из признанных достижений отечественной науки остается междисциплинарное семантико-семиотические исследовательское направление, в частности, в этнолого-антропологическом ракурсе, выявляющее в декоре и конструкции повседневных бытовых вещей символы, смыслы которых уходят в глубину традиционных культур.

Унифицирующая власть традиционной материальной культуры в городском пространстве могла смениться гораздо более широкой индивидуализацией частной жизни, но в российских городах она происходила достаточно медленно. Что определяло этот темп, когда даже символика традиционной культуры зачастую перестала быть понятной большинству ее наследников?

Возможно, события истории России XX в., катастрофические по своим последствиям для значительной части населения страны, вызывали культурно-бытовые сдвиги настолько массового характера, что «индивидуальные траектории» на их фоне терялись. Отсюда, вероятно, одна из причин массовости показателей по изменениям материальной культуры городского населения. Пожалуй, только к середине 1960-х гг. у части населения появился так называемый *must-have* в виде «бытового набора» из мебельного гарнитура, ковра и хрусталя. На этом фоне американская мечта об автомобиле и собственном доме с бассейном воспринималась скорее как мираж, а не реальная

перспектива. Однако и в нашей стране она оказалась достижимой для части населения (с учетом сложившегося в России в постсоветской период огромного разрыва — около 30 раз — в уровне доходов граждан) на протяжении жизни одного поколения.

Городские «телесность и сантименты» — так предлагалось назвать одну из рабочих секций Конгресса российских этнографов и антропологов (Москва, 2013 г.) — оказываются под воздействием не только жесткой рамки массовых материальных условий жизни, но и набора «идей» или представлений, влияющих на повседневную жизнь.

Антропологический взгляд на современную городскую среду призван оценить ее собственно человеческие составляющие: интеллектуальные, эмоциональные и волевые — в социальных и культурных процессах, которые в силу своей масштабности зачастую представляются движимыми только обезличенной силой государственной власти и экономической выгоды рынка и кажутся совершенно независимыми от своих рядовых «акторов» и потребителей.

История на рубеже XX—XXI вв. показывает, что одной общественной целесообразности не хватает для выживания не только маленькой деревни в Центральной России, но и города-миллионника американского автопрома. Без слабых людей с сильными желаниями и готовностью осуществить их во что бы то ни стало прекращают действовать объективные законы общественного развития.

Механизмы создания и манипуляции желаниями опираются на присущие человеку естественные биологические потребности выживания в созданной человечеством второй природе — культуре. Ее бытовому пласту, как и в палеолите, присуща все та же этнографическая триада — жилище, одежда и пища. Они же — столпы современного консюмеризма. Сегодня эти основополагающие для человеческого бытия вещи предлагаются в широком спектре индивидуальной вариативности и эстетических предпочтений на любой вкус и экономические возможности. Предложения не только всеобъемлющи, но и всепроникающи: за вещами не надо идти, их не надо искать, они приходят домой сами с экранов электронных СМИ, в первую очередь телевидения, а в последние десятилетия и через интернет. Очевидно, что это предложение рождено спросом.

В визуальном тексте, направленном не просто ко всем, но к каждому, предлагается масса зачастую вполне квалифицированных рекомендаций и рецептов, что приготовить, как одеваться стильно и красиво, каким образом обустроить свое

жилище — от скромного дачного домика до особняка. Наглядная школа жизни научит, как сохранить здоровье, хорошо выглядеть, найти достойного спутника жизни. Непререкаемое общественное мнение содержит не только совет, но и оценку — что хорошо и что плохо. Остается только понять, почему благой просветительский пафос растрачивается втуне, судя по неблагоприятным показателям статистики, с одной стороны, и второму по «продвинутости» продукту телевидения — детективным сериалам и боевикам — с другой.

Эта ситуация общемировая, а не только российская, но, судя по исследованиям зарубежных коллег, их страны отчасти уже перешагнули искус массового комфорта и «красивости» и перешли к научному осмыслению нового этапа взаимодействия людей и вещей. В нашей стране, по-видимому, в силу перманентного дефицита, слишком долгой нехватки всего и для очень многих, те «ловушки цивилизации», что выглядят «богато» и «круто», оказались особенно привлекательными. Новый поворот вечной дилеммы «быть или иметь» приводит не отдельных людей, а целые страны и регионы к выбору «иметь».

Необходимые для преобразования страны проекты по созданию масштабных объектов материальной культуры: транспортных инфраструктур, жилищному строительству в контексте новых градостроительных решений, ориентированных на формирование новой городской среды, логистике (перемещению трудовых и энергетических ресурсов, полезных ископаемых, продовольственных запасов) — помимо обоснования экономической и производственной целесообразности нуждаются в высококвалифицированных научных этнолого-антропологических оценках.

Эта работа уже ведется в рамках построения модели этнологической экспертизы, в создании структуры этноконсалтинга. Само именование модели говорит о сохраняющейся в отечественной науке традиции прежде всего «этнической ориентации» дисциплины. Первые экспертизы анализировали ситуации, так или иначе связанные с коренными малочисленными народами Севера и Сибири, да и то лишь той их части, что проживает на территориях традиционного природопользования. Кроме того, опора преимущественно на количественные характеристики изменений в материальной культуре, которые трактуются как показатель эколого-технологических и экономическо-социальных «объективных тенденций», оставляет отечественную этнологию и антропологию в теоретических рамках неозволюционизма.

Востребованность этнолого-антропологической науки со стороны ведомств государственного управления продолжает

оставаться двойственной и непоследовательной. Так, после важного прорыва в российском образовании — включения специальности «антропология и этнология» в полный объем бакалавриата и магистратуры в реестр образовательных специальностей Российской Федерации — одним из следующих шагов становится закрытие Министерства регионального развития, отчасти учитывавшего (плохо или хорошо — другой вопрос) этнические различия регионов России.

Вопрос о создании антропологической службы или выделении в штате действующих административных структур — от федеральных до локальных — штатных должностей для специалистов в области социокультурной антропологии пока, судя по всему, даже не возникает, несмотря на высокий должностной статус куратора Российского географического общества, с которого, как известно, и началась российская этнография. Впрочем, это тоже не только российская проблема. В сложившемся контексте в тандеме «человек — вещь» человек пока продолжает оставаться «вторым номером», идет ли речь о разработке газонефтяных месторождений или персональном использовании высокотехнологичных гаджетов.

ЛЮДМИЛА ХАХОВСКАЯ

Описание предметов материальной культуры считается традиционным сюжетом этнографии. Но положение дел в изучении вещного мира в значительной мере связано с особенностями полевого метода и музейной работы. То, что происходило, да и происходит в отечественной этнографии, по большому счету, являлось каталогизацией, составлением реестра наличных предметов. При пристальном, казалось бы, внимании к материальному, от исследователей ускользнул ряд важных его аспектов. Практикуемый способ фиксации, как теперь уже видно, содержал два основных недостатка: отсутствие по конкретным предметам 1) развитой легенды и 2) подробного описания по формальным признакам. Собственно, и сами эти формальные признаки никогда не были разработаны таким образом,

Людмила Николаевна Хаховская

Северо-Восточный комплексный
научно-исследовательский
институт им. Н.А. Шило
Дальневосточного
отделения РАН,
Магадан
hahovskaya@mail.ru

чтобы, с одной стороны, выдерживать обязательный стандарт описания; с другой — учитывать возможно большее разнообразие и вариативность, а все это, вместе взятое, дало бы возможность проводить достаточно тонкие сравнительные исследования, в том числе междисциплинарные. Если говорить об этнографическом сибиреведении, высшим достижением в этой области можно считать составление «Историко-этнографического атласа Сибири» (1961), в который вошли некоторые крупные предметные группы. После этого в свет выходили уже только статьи по отдельным предметам, в основном из-под пера сотрудников МАЭ, в которых сравнительный анализ шел преимущественно в описательном ключе, без формализации. Конечно, если предметы осели в музейных коллекциях, последний недостаток исправим. Другое дело, что работа это долгая, кропотливая и не престижная, поэтому заниматься этим сейчас некому.

Что же касается легенды, т.е. истории вещи в живой этнической культуре, то ее отсутствие невосполнимо. Это означает, что вещи без легенды существуют в состоянии археологизации, все равно, находятся они в музеях или на руках у современных носителей этих культур. Археологизация же означает этнографическую смерть вещи. Вещь утрачивает возможность представлять стоящие за ней уникальные явления жизни, в том числе социальные взаимодействия. В некоторых обстоятельствах и в «немых» предметах угадываются сложные переплетения личных переживаний, творческих импульсов, общения между людьми. Кое-что можно восстановить сравнительным путем, но в целом этнографические предметы потеряны для, метафорически говоря, акторно-сетевого анализа (если не брать совсем современное бытование). Фиксации легенд в свое время не уделялось особого внимания, а в настоящее время они крайне скудны даже для уникальных предметов этнографии. Наконец, лишь малая часть этнографических коллекций опубликована, хотя бы в виде каталога.

То, о чем сказано выше, — это диагноз неудовлетворительного состояния полевой и (по аналогии с другими дисциплинами) камеральной вещеведческой работы. Вещи в своем большинстве не имеют строгих формальных привязок и не имеют родословных. Но и в том случае, если все в порядке, информация теряется в архивах и не имеет выхода к аудитории. Не существует ни одного российского вещеведческого антропологического журнала, а предлагать к публикации статьи, содержащие конкретный материал без вписывания его в контекст «планетарных» проблем в редакциях некоторых журналов, похоже, признается за дурной тон.

Отсутствие процедуры формального анализа, выстроенной на ее основе таксономической (может быть, и сетевой) связи предметов и признаков, а также индивидуального исторического «лица» привело к такой ситуации, что случайным образом попадающая в историографию вещь «этнической окраски» представляет собой как бы тип всех подобных вещей. Отчасти по этой причине создается впечатление застывших культурных облик: не видны переходы, полутона, заимствования и влияния.

Думается, что в число причин идейной слабости этнографии предметного мира входят перечисленные моменты, имеющие отношение прежде всего к методике и методологии собственно вещеведения, с минимальным антропологическим «шумом», а также к парадигме собственно социальной / культурной антропологии, где этот шум и является побудительным мотивом концептуальных подвижек. Вопрос форума заключается в том, почему российские этнографы не заметили революционного сдвига последних десятилетий в изучении материального. Если брать аспект вещеведения, то проблематична сама революционность этого сдвига, ведь активное морфо- и социообразующее воздействие вещей на человеческое общество не выпадало из поля зрения отечественных специалистов. Кто-то даже скажет, что весь пафос АСТ содержится в одной фразе Ф. Энгельса «Труд создал человека». Не все, кроме того, нацелены на изучение только лишь современности, а намерение АСТ эмансипировать вещественный объект от социальных детерминаций идет вразрез со стремлением археологов и этнографов видеть за культурными остатками социальный порядок.

Если же говорить об антропологии, то сообщество российских специалистов в этой дисциплине отличается от зарубежного более медленной оборачиваемостью идей. Известно, что «возвращение материального» в виде АСТ и других концепций возникло как критическая реакция на социологический конструктивизм и, в свою очередь, подвергается критике за «плоскостной» подход и игнорирование иерархий. В общем-то, все эти идеи могут найти и находят сторонников в России, но вряд ли соберут под свои знамена такое их критическое число, чтобы определять научный мейнстрим. Может быть, дело в том, что в России просто мало этнографов (антропологов), они неравномерно распределены в пространстве, слабо оснащены различного рода актантами, а потому не образуют эффективно действующих сетей. Собственно, разнородность и разобщенность российского дисциплинарного сообщества, отсутствие выраженных идейных течений и лидеров — это факты, лежащие на поверхности.

Большое, если не решающее значение имеет отсутствие общественного запроса: общество, бизнес и власть не ставят перед гуманитариями серьезных задач изучения самих себя, самодеятельно же на такое мало кто решится, поскольку многие зоны и институты — закрытые и рискованные. Если судить по работам Б. Латура, идея обратить пристальное внимание на «нечеловеческие актанты» пришла в тот момент, когда «вещи дали сдачи», т.е. рассмотрение всех сфер жизни сквозь призму тотального социологизирования привело к искажению картины, что с особой очевидностью выявилось тогда, когда социологи подступили к изучению не «немого», а очень даже говорящего объекта — организации науки и техники, лабораторной жизни, производства и бизнеса. Этот объект просто не узнал себя в социологическом нарративе, о чем и заявил в полный голос. Обнаружилось, что существует целый пласт явлений, не поддающихся равно позитивистскому или постмодернистскому гуманитарному анализу.

Как кажется, среди отечественных этнографов интуитивное ощущение существования не разлагаемого «сухого остатка» в этнической культуре присутствовало всегда. Выделение в отдельные блоки «материальной культуры», «социальной организации» отчасти являлось выражением неявного признания наличия «черных ящиков» между этими сферами и этнической субстанцией. Конечно, все это выглядит сейчас громоздко и старомодно. Новые концепции материального, образно говоря, разбивают эти сооружения на множество мелких «черных ящичков», которые помещаются в узлах сети и перемежаются людьми или же движутся потоками внутри и поверх сетей. Такой сдвиг не решает проблемы познаваемости и онтологического статуса «вещей в себе», но придает картине новое освещение и динамизм. Между тем, поскольку опыт исследования подобных «сопротивляющихся» объектов у отечественных специалистов невелик, а чаще вовсе отсутствует, этот инструмент, по большому счету, не к чему приложить.

Возможны и более общие объяснения невосприимчивости отечественной этнографии к новой концепции, имеющие отношение к когнитивной сфере. Дело заключается в глубинных основах мышления, связанных с мировоззрением авторов, пишущих о предметном мире. Например, создается впечатление, что материальное вернулось в подновленных, но все же социальных одеждах, от которых его вроде бы пытались освободить. Известно, что социология, конституируя собственный предмет, стремилась снять противопоставление материального и духовного, видя во всех культурных феноменах социально обусловленные и сконструированные явления. После того как обнаружилось явное сопротивление материала, социальный

редукционизм отступил и вывел на сцену «нечеловеческих актантов». Но та форма включения материальных объектов в ткань культуры, которую предлагает АСТ, сама по себе экстравагантна, что мешает ее восприятию классически настроенными учеными. Главное же, эта концепция противоречива.

С одной стороны, признается существование области, не познаваемой социальными дисциплинами, она управляется иными законами, к которым социология подступиться не может в принципе.

С другой стороны, структурно и описательно автономия материального расположилась внутри сети, и актанты сети признаны равноправными. В то же время вся описательная модель, несомненно, исходит из социологических установок и социальной онтологии. Иными словами, материальный мир, ранее упакованный отдельным целым, ныне раздроблен, но упакован все-таки в социальную оболочку. Это все тот же амбициозный социологический проект, не желающий поступаться предметным полем.

Таким образом, не очень понятно, приложим ли «материалистический поворот» к конкретным антропологическим сюжетам. В том, что появятся работы, в которых будут стремиться «натянуть ANT и STS» [Сивков 2014: 248] на, как принято сейчас выражаться, российские кейсы, сомневаться не приходится. Другое дело, позволит ли это увидеть нечто новое в предмете. Археологам и традиционным этнографам было бы также интересно знать, имеет ли акторно-сетевая модель ретроспективную познавательную ценность, т.е. реконструирует ли она сеть, если в ней не виден актант-человек. Может ли она служить методологической основой, скажем, процессуальной этнографии материальной культуры, по аналогии с новой археологией? Впрочем, такого рода вопросы, скорее всего, излишни. Как говорят французы, даже самая красивая девушка в мире не может дать больше того, что имеет.

Библиография

Сивков Д. Рец. на: Латур Б. Наука в действии: следуя за учеными и инженерами внутри общества. СПб: Европейский университет в СПб., 2013 // Социология власти. 2014. № 1. С. 248–255.

ВИКТОР ШНИРЕЛЬМАН**Почему научные революции
обходят нас стороной?**

На самом деле революция, связанная с пониманием активной роли материальной культуры, произошла не двадцать лет назад, а много раньше. Во всяком случае, я открыл ее для себя в начале 1980-х гг., познакомившись с книгой британского археолога Яна Ходдера, проводившего этноархеологические исследования в Африке. В этой книге он на многочисленных примерах убедительно показал, что окружающий вещный мир вовсе не является пассивной стороной, а активно влияет на представления и действия людей [Hodder 1982]. В какой-то мере это напоминает известную гипотезу Сэпира — Уорфа о влиянии самого строя языка на мышление.

В те годы этноархеология была на взлете, ее подходы активно обсуждались, и в этой области к началу 1980-х гг. было сделано немало интересных наблюдений и открытий. Я тогда участвовал в академическом проекте по подготовке трехтомного издания по истории первобытного общества, где делалась попытка глобального междисциплинарного подхода к материалу. Благодаря этому мне пришлось проштудировать немало зарубежных археологических публикаций и познакомиться с самыми разными подходами, среди которых встречалось и немало новых. Была среди них и этноархеология. Впрочем, для меня это было не столько новым подходом, сколько подтверждением того, о чем я уже тогда начал задумываться. Дело в том, что тогда я побывал на Русском Севере, где нередко приходилось встречать заброшенные деревни, а в них оплывшие ямы, оставшиеся от еще недавно стоявших там деревянных домов. Речь шла о последствиях проведенной незадолго до того кампании по ликвидации неперспективных деревень. И мне было

хорошо известно, что бывшие владельцы разрушившихся домов жили теперь в другом поселке, их можно было найти, причем с ними еще можно было поговорить и узнать, что собой представляло их жилище, каков был его интерьер, что где стояло и как использовалось. Тогда-то мне в голову и пришла мысль о том, что в виде эксперимента можно было бы раскопать такое жилище, сделать археологическую реконструкцию, а параллельно провести опрос у его прежних хозяев и затем путем сравнительного анализа проверить, насколько точными бывают археологические реконструкции. Именно этим и занимается этноархеология, т.е. этнографическая археология (не имеющая никакого отношения к этногенезу или этнической истории, что далеко не всегда хорошо осознается коллегами).

Случилось так, что именно в это время мне стали попадаться западные работы по этноархеологии [Шнирельман 1979: 158–159; 1980; Shnirelman 1982], где я обнаружил массу интереснейших ответов на те вопросы, которые у меня возникли. Тогда я и решил сделать обзор этноархеологических публикаций, чтобы познакомить с ними наших специалистов — археологов и этнографов. В Институте этнографии в те годы работал методологический семинар, и, когда я предложил сделать доклад по этноархеологии, было решено устроить совместное с археологами заседание. Осуществить это было нетрудно, так как в те годы наши институты находились в одном и том же здании, да и археологи тоже были заинтересованы в обсуждении методологических проблем. Происходило это в 1982 г.

Доклад прошел успешно, специалисты задавали вопросы, хотя было заметно, что этноархеологический подход оказался настолько неожиданным и непривычным, что многие даже не вполне понимали, как его следует обсуждать. Тем не менее я был полон энтузиазма и подал текст доклада в качестве статьи в журнал «Советская этнография», рассчитывая, что такая публикация поможет специалистам лучше понять проблему и этноархеология найдет применение в нашей науке. Тут-то меня и ожидал первый сюрприз. Мне сообщили, что на заседании присутствовал инструктор райкома КПСС, который выразил недовольство тем, что доклад был посвящен достижениям западной науки, причем в ее адрес не было сказано ни слова критики. Редакция журнала должна была как-то на это отреагировать, и мне предложили внести в статью соответствующие коррективы. Мне трудно сейчас сказать, насколько это меня обескуражило, ибо речь шла о новом интересном научном методе и критиковать там было решительно нечего. Выход из этой щекотливой ситуации нашел руководитель моего сектора А.И. Першиц, предложивший закончить статью словами о том, что, какие бы методы ни вводились на Западе, наша «марк-

систско-ленинская наука» все равно занимает самые передовые позиции. Статью надо было спасать, и я, разумеется, на это согласился. Да и заключительное предложение такого рода ничего в статье принципиально не меняло. В таком виде статья в результате и была опубликована [Шнирельман 1984].

Но история этим не закончилась. Напротив, все еще только начиналось. Дело в том, что, наряду с другими подразделениями, в Институте тогда работала Хорезмская археолого-этнографическая экспедиция, организованная когда-то еще С.П. Толстовым. И для меня это было первое научное подразделение, где мне открылся путь в науку. Я проработал там пять лет, а затем перешел в сектор по изучению первобытного общества, где пришлось сменить полевую археологию на широкие теоретические исследования, имевшие глобальный характер.

В начале 1980-х гг. повеяли новые ветры, и наверху выразили недовольство тем, что в составе Института этнографии работали археологи, чем нарушалась четкость советской научной инфраструктуры. Начальству надо было что-то срочно предпринимать, причем дело происходило сразу же после того, как я выступил с докладом по этноархеологии. Каково же было мое изумление, когда мне, тогда младшему научному сотруднику, позвонил директор Института академик Ю.В. Бромлей, который спросил, не возражаю ли я, если Хорезмская экспедиция будет переименована в отдел этноархеологии. Сейчас трудно передать, что я тогда испытал, ибо ранее мне никогда не приходилось иметь дела ни с директорами, ни тем более с академиками. Тем не менее я попытался объяснить, что сотрудники Хорезмской экспедиции занимаются совершенно иными исследованиями, весьма далекими от этноархеологии. Но моему собеседнику это было совершенно не интересно. Похоже, ему просто нужно было сделать формальный звонок, а решение уже было принято. Так Хорезмская экспедиция превратилась в отдел этноархеологии. Тем самым удалось сохранить людей, и они еще несколько лет могли спокойно заниматься тем же, чем они всегда занимались, — археологией.

Однако никакой этноархеологии, разумеется, так и не появилось. И я вспоминаю, как тогдашний заведующий отделом А.В. Виноградов жаловался мне на то, что ему пишут из провинции и просят объяснить, что такое этноархеология, а он и сам этого не понимает.

Но и это еще не конец истории. Несколько раз я выступал на всесоюзных и региональных конференциях, пытаясь привлечь внимание к этноархеологии [Шнирельман 1988; 1990а; 1990б; 1991]. Но специалистами это воспринималось с трудом. Помню, как в 1990 г. на конференции в Томске один из

местных участников с жаром доказывал, что никакого смысла этноархеология не имеет и советские археологи без нее прекрасно справляются со своими профессиональными обязанностями. Но в 1991 г. в Самаре мое выступление встретило больше понимания, и, благодаря помощи самарских археологов, мне удалось опубликовать небольшую брошюру, где обсуждались вопросы этноархеологии [Шнирельман 1993]. Правда, специалисты все это встречали с холодным равнодушием.

В 1994 г., когда только-только открылся Российский гуманитарный научный фонд и появилась возможность получать гранты, я подал заявку на проект по этноархеологии и... получил отказ. Я объясняю это нашим профессиональным снобизмом. Ведь я тогда работал в Институте этнологии, а археология была епархией археологов, доступ к археологическим грантам для «чужаков» был заказан. Так моим надеждам на собственные исследования по этноархеологии пришел конец. Правда, я еще некоторое время пытался популяризировать этноархеологию, выступая с докладами на региональных конференциях (Омск 1993 г., Ижевск 1993 г.). Но когда по договоренности с некоторыми казанскими коллегами я передал им для публикации небольшую статью по этноархеологии, местные археологи встретили это в штыки: этноархеология им пришлось явно не ко двору, статья там так и не была опубликована. Дело в том, что этноархеология ставила под вопрос надежность принятых у нас этногенетических построений, а в этноцентристском идейном климате это мало кому нравилось.

Может ли эта печальная история ответить на вопрос о том, почему некоторые научные революции проходят мимо нас незамеченными? Одна из причин, как мы видели, имеет прямое отношение к «административному ресурсу». Бюрократизация никогда не способствовала развитию науки. Ведь административные решения, по видимости направленные на решение научных задач, в реальности нередко имеют совершенно иные мотивации. К сожалению, наша научная структура до сих пор устроена так, что в практическом отношении административный ресурс наделяет человека гораздо большим влиянием (и, что немаловажно, возможностями получить финансирование), чем научные достижения. Разумеется, административный ресурс повсюду является мощным инструментом политики, но там, где существует устойчивая система ротации (т.е. где, как в США, коллеги передают бразды руководства друг другу раз в несколько лет), его негативные последствия сглаживаются тем, что каждый руководитель сознает, что завтра ему придется поменяться с коллегой. Поэтому в такой обстановке руководителю приходится считаться с мнением специа-

листов, и научная среда получает определенную защиту от непродуманных административных решений.

Вторым фактором служит наличие здоровой конкуренции, создающей стимулы для развития и способствующей инновациям. В этом случае мы также встречаемся с пресловутым «административным ресурсом», гипертрофированное развитие которого ведет к тому, что в основу оценки деятельности того или иного ученого кладутся не научные достижения, а административное положение. Оно же определяет и его конкурентоспособность, доступ к финансовым ресурсам, званиям и наградам. Разумеется, ни о какой здоровой конкуренции в условиях, где роль «административного капитала» оказывается в разы выше «научного капитала», речи быть не может. Очевидно, в такой обстановке места для научных революций остается не так уж много.

Третьим фактором является ярко выраженный регионализм, способствующий тому, что многие специалисты концентрируют свое внимание только на изучаемых ими регионах и не интересуются тем, что делается в остальном мире. А это означает, что если, допустим, в области изучения Кавказа появляются новая методика или новые подходы, то они останутся незамеченными специалистами по Поволжью или Сибири. Например, в 1990-х гг. Г.А. Комарова провела уникальные исследования на Южном Урале, связанные с особенностями выживания людей в условиях радиоактивного заражения [Комарова 2002]. Однако, когда позднее некоторые специалисты проводили исследования в районе Чернобыля, они, как оказалось, не нашли нужным познакомиться с ее работами и не учли ее опыт. Не менее показательная обстановка сложилась вокруг моей книги, посвященной возникновению производящего хозяйства. Это глобальное исследование, до сих пор не имеющее в мире аналогов, было проведено в 1980-х гг., а его результаты были изданы в 1989 г. [Шнирельман 1989], но оно осталось незамеченным многими специалистами: занимаясь происхождением земледелия в различных регионах России (или за рубежом), к этой книге мало кто обращается. Примечательно, что, как оказалось, даже мои коллеги, несколько лет назад проводившие коллективное исследование о традициях изготовления и использования хлеба, не имели представления об этой книге. В результате содержание их вводной главы, посвященной происхождению культурных злаков, отстало от уровня современной науки более чем на полвека: там не были учтены не только последние достижения в этой области, но даже те огромные достижения второй половины XX в., которые были проанализированы в моей книге.

Это, к сожалению, весьма распространенное явление, которое С. Соколовский когда-то обозначил как «антиинтеллектуализм» [Соколовский 2009] или «обскурантизм» [Соколовский 2011]. Речь идет о низком уровне компетентности, нехватке образования, узком научном кругозоре, когда, хорошо ориентируясь в своей узкой области, люди опасаются выходить за ее пределы, чувствуя себя там неуверенно. Казалось бы, лучшим способом преодолеть такие страхи является самообразование. Как говорил мой учитель А.И. Першиц, «если я чего-либо не знаю, я загляну в энциклопедию». К сожалению, этому простому и мудрому совету мало кто готов следовать. И в крупнейших московских библиотеках, где я регулярно работаю, я встречаю своих коллег крайне редко.

Разумеется, и в рассматриваемом случае можно говорить о роли административного ресурса, ибо, если бы упомянутые исследования были проведены людьми, наделенными научно-административной властью, их книги не прошли бы незамеченными. Но дело не только в этом. Сегодня в нашей науке просто нет стимулов для инноваций, ибо наука давно утратила свой быллой высокий престиж. Это произошло во второй половине XX в., когда обнаружилась зловещая роль науки в создании новых разрушительных видов вооружения. Не обошло это и нашу науку, когда выяснилась сомнительная политическая роль исследований по этногенезу, этнической истории и исторической географии, обслуживающих этнонационалистические идеологии [Shnirelman 1995; 1996; Шнирельман 2003; 2006]. Когда же в эпоху перестройки активно в негативном ключе обсуждалась роль науки в легитимации коммунистического режима, это моментально привело к резкому росту популярности «альтернативной науки», деятели которой (журналисты, писатели и пр.) наводнили книжные рынки своими фантастическими произведениями. Эта волна не спадает до сих пор, и в общественном мнении специалисты иной раз оказываются маргиналами.

Кстати, изучение роли такой продукции (наряду с научной) в создании идеологических и политических мифов является новой и перспективной междисциплинарной областью исследования. Однако эта область, в течение последних десятилетий вызывающая неизменное внимание на Западе и породившая множество интересных публикаций, остается в России уделом маргиналов, нередко подвергающихся нападкам. У нас остается мало разработанной и такая проблема, как влияние национализма на научные исследования. Кроме того, мало кто берется за изучение таких животрепещущих вопросов, как расизм, антисемитизм и иные виды ксенофобии. Одна из причин заключается в том, что само наше академическое сообщество

не свободно от таких напастей, и иной раз даже исследования ксенофобии исходят из ксенофобских посылок [Шнирельман 2008].

Поэтому следует иметь в виду и общий моральный климат в стране. Модная сегодня охранительная идеология консерватизма, принятая политическим истеблишментом, никак не способствует инновациям. Революции у нас не приветствуются. Очевидно, это относится и к научным революциям. Многим кажется более комфортным двигаться по привычной дорожке, гарантирующей от неприятностей. Полагаю, что дальнейшая бюрократизация науки, к которой ведет реформа РАН, только закрепит эту малоблагоприятную для инноваций ситуацию.

Библиография

- Комарова Г.А.* Предтеча Чернобыля. Этнокультурные аспекты экологической катастрофы на р. Теча. М.: ИЭА РАН, 2002.
- Соколовский С.* Бремя традиции: прошлое в настоящем российской антропологии // Антропологический форум. 2011. № 15. С. 205–220.
- Соколовский С.* Российская антропология: иллюзия благополучия // Неприкосновенный запас. 2009. № 1. С. 45–64.
- Шнирельман В.А.* Архаическое гончарство и этническая традиция // Всесоюзная научная сессия по итогам этнографических и антропологических исследований 1986–1987 гг.: Тез. Сухуми, 1988. С. 88–90.
- Шнирельман В.А.* Археологическая культура и социальная реальность (проблема интерпретации керамических ареалов). Екатеринбург: УрО РАН, 1993. (Переизд. в сб.: Этнографо-археологические комплексы: проблемы культуры и социума. Новосибирск: Наука, 2002. Т. 5. С. 19–38).
- Шнирельман В.А.* Быть аланами. Интеллектуалы и политика на Северном Кавказе в XX веке. М.: НЛО, 2006.
- Шнирельман В.А.* Возникновение производящего хозяйства. М.: Наука, 1989. (2-е доп. изд. М.: Книжный дом ЛИБРОКОМ, 2012).
- Шнирельман В.А.* Войны памяти: мифы, идентичность и политика в Закавказье. М.: ИКЦ Академкнига, 2003.
- Шнирельман В.А.* Керамика как этнический показатель: некоторые вопросы теории в свете этноархеологических данных // Проблемы теории и методики в современной археологической науке. Краткие сообщения Института археологии. 1990а. Вып. 201. С. 49–56.
- Шнирельман В.А.* Методы использования этнографических данных для реконструкции первобытной истории в зарубежной науке // А.И. Першиц (ред.). Этнография как источник реконструкции истории первобытного общества. М.: Наука, 1979. С. 126–163.

- Шнирельман В.А.* Оружие как этнический и / или социальный маркер (этноархеологические заметки) // Проблемы исторической интерпретации археологических и этнографических источников Западной Сибири: Тез. конференции по проблемам интерпретации западносибирских археологических и этнографических данных. Томск: Томский государственный ун-т, 1990б. С. 16–19.
- Шнирельман В.А.* Рец. на кн.: P.J. Watson. Archaeological Ethnography in Western Iran. Tucson, 1979 // Советская этнография. 1980. № 4. С. 169–172.
- Шнирельман В.А.* Роль фактора пола в формировании керамических ареалов (этноархеологические заметки) // Керамика как исторический источник. Подходы и методы изучения: Тез. Всесоюзной конференции «Керамика как исторический источник». Свердловск; Куйбышев, 1991. С. 10–13.
- Шнирельман В.А.* Ученые и ксенофобия // Антропологический форум. 2008. № 8. С. 158–166.
- Шнирельман В.А.* Этноархеология — 70-е гг. // Советская этнография. 1984. № 2. С. 100–113.
- Hodder I.* Symbols in Action. Ethnoarchaeological Studies of Material Culture. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1982.
- Shnirelman V.A.* Alternative prehistory // Journal of European Archaeology. 1995. Vol. 3. No. 2. P. 1–20.
- Shnirelman V.A.* The Importance of Ethnographic Sources for Ethnoarchaeological Studies // Problems of the European Ethnography and Folklore. Abstracts of the 2nd Congress of the International Society for European Ethnology and Folklore. Institute of Ethnography, Suzdal, September 30 — October 6, 1982. Moscow: Nauka, 1982. P. 204–207.
- Shnirelman V.A.* Who Gets the Past? Competition for Ancestors among Non-Russian Intellectuals in Russia. Washington D.C.; Baltimore; L.: Woodrow Wilson Center Press; Johns Hopkins University Press, 1996.

РАСКОЛДОВАННЫЕ ЛЮДИ (ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ)

Представленные выше рассуждения о «повороте к материальному» роднит понимание того факта, что язык описания носит по отношению к объекту описания отнюдь не нейтральный характер, а собственно объект и конструирует. Это же касается и не проговариваемых, само собой разумеющихся предпосылок, лежащих в основании теории — представлений об устройстве объекта, которые не надо доказывать. Именно они определяют оптику, фокус и пределы досягаемости того или иного подхода. А это значит, что и те, то проехал «поворот к материальному» мимо, намеренно или просто не заметив его, и те, кто попробовал, но в него не вписался, а также успешно туда повернувшие (составляющие, впрочем, меньшинство) — или думающие, что они повернули, — все они не только говорят на разных языках, даже когда употребляют одни и те же слова, но и говорят, в сущности, о разном, хотя при этом могут полагать, что обращаются к одной и той же реальности и что вполне понимают друг друга.

Такая ситуация плодотворна: не дает соскучиться и поневоле затрагивает даже тех, кто с удовольствием бы занимался самими вещами, а не разговорами об инструментах теоретизирования. Она подталкивает к осознанию собственной позиции и собственно-го языка, что для эмпирически ориентированного исследователя, может быть, и полезно, но не всегда комфортно. Во всяком случае, для условного «антрополога» и «этнографа» такая рефлексия менее комфортна, нежели для условного «социолога», для которого в каждой конкретной работе эксплицитное самоопределение по отношению к современной социальной теории оказывается необходимой частью выбора концептуальной рамки исследования, без чего коллеги его просто не поймут. Не здесь ли кроется ответ на вопрос о том, почему

«перенастройка» исследовательской оптики в рамках «поворота к материальному» затронула социологов раньше и глубже, чем антропологов?

Подталкивает антрополога к рефлексии и то обстоятельство, что некоторые современные вещи — если только он принимает их во внимание — ускользают от привычных способов прочтения смыслов уже в силу того, что сами производят действия и реагируют, т.е., фактически, обладают поведением, будто магические объекты, знакомые по этнографическим и фольклорным материалам. Они, равно как и другие — отнюдь не только современные — вещи, включены в деятельность человека как орудия ума, а не физического действия, и требуют переосмысления представлений о человеке и устройстве его когнитивных процессов (см., например: [Hutchins 1992]).

Рискну провести параллель между сюжетной конструкцией, стоящей за текстами исследований, и художественными произведениями — параллель, которая, как всякое риторическое построение такого рода, хромает, но дает нам повод задуматься о поэтике социологических и антропологических текстов, затронутых «поворотом». В какой-то момент вещи были осознаны писателями как своеобразные действующие лица. Речь идет не только о сравнительно маргинальных, хотя и очень показательных текстах, в которых обычные вещи оказываются главными действующими лицами рассказываемой истории (вроде литературных сказок Андерсена), но и о поэтике «говорящей» детали, и о таких пружинах сюжетосложения, как долженствующее выстрелить в третьем акте ружье. Применительно к художественному тексту мы опираемся на презумпцию когерентности элементов, которая позволяет достичь недоступной в иных сферах говорения компрессии смысла: если там появляется пусть не ружье, а изображение «Притчи о блудном сыне», висящее на стене, то это не может быть случайностью и что-то существенное — возможно, символическое — значит. Роль вещи как символа сложнее близких к этнографическим описаниям перечней вещей, занимающих важное место в «Робинзоне Крузо» — как и перечней, принадлежащих художественному тексту этнографического характера вроде «Вещей» Жоржа Перека.

В изобразительном искусстве центральности композиционной функции вещи соответствует жанр натюрморта. Как указывал Ю.М. Лотман, вещь в сюжетной картине подобна вещи в театре, которую обыгрывают актеры, тогда как вещь в натюрморте играет свою собственную роль, как вещь в кино. При этом она тяготеет к насыщению смыслом, эмблематичности, особенно в те эпохи, «когда пристальное внимание искусства обращено

на анализ своего собственного языка» [Лотман 2002: 347], — и в эти же периоды в искусстве возникает интерес к натюрморту. Так что художественное изображение, скажем, дверного доводчика помимо сугубой декоративности могло бы побуждать к рефлексии о языке искусства — например, своей гиперреалистичностью.

В натюрморте нет места герою-человеку; исчезает человек как целое и из крупных планов в кино, которые, кстати, могут быть посвящены исключительно вещам. Р. Якобсон, упоминающая крупные планы как пример метонимической ориентации, указывал далее, что синекдохическая поэтика — на примере особенностей текстов Гл. Успенского [Якобсон 1990: 129] — дает странный эффект: целое растворяется в деталях, портрет персонажа пропадает.

Возвращаясь к антропологическим исследованиям: почему в наших повествованиях человек должен обязательно занимать центральное место? Ответ, в сущности, прост: потому что мы повествуем в рамках наук о человеке.

Но с человеком сегодня не все так просто. Не свидетельствует ли «поворот к материальному» о том, что сбывается пророчество М. Фуко о конце гуманитарных наук? Ведь если современная эпистема, обосновывающая «способ бытия человека и возможность его эмпирического познания», исчерпала себя, и если человек («изобретение недавнее», как показывает археология знания, не существовавшее до конца XVIII в.) «исчезнет, как исчезает лицо, начертанное на прибрежном песке» [Фуко 1994: 403–404], то место человека в качестве объекта знания займут — тут уже не так долго остается фантазировать — например, сети и материальные объекты.

Библиография

- Лотман Ю.М. Натюрморт в перспективе семиотики (1986) // Лотман Ю.М. Статьи по семиотике искусства. СПб.: Академический проект, 2002. С. 340–348.
- Фуко М. Слова и вещи (1966) / Пер. с фр. В.П. Визгина, Н.С. Автономовой. СПб.: А-сad, 1994.
- Якобсон Р.О. Два аспекта языка и два типа афатических нарушений // Теория метафоры. М.: Прогресс, 1990. С. 110–132.
- Hutchins E. Cognition in the Wild. Cambridge, MA; L.: The MIT Press, 1992.